

*S. N. Bulgakov*

# С. Н. БУЛГАКОВ

## Труды по социологии и методологии

Том 2

Статьи и работы  
разных лет  
1902 - 1942



СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

БУЛГАКОВ

1918 г.

Издание подготовлено  
В. В. Саров

LIBRARY OF THE  
CENTRAL EUROPEAN  
UNIVERSITY  
BUDAPEST



МОСКВА

"НАУКА" • МАИН "НАУКА"  
1999

котором религия рассматривается преимущественно в качестве масла для смазки колес социального механизма или колесницы прогресса, расценивается как средство для внешних целей. Если первое, при всей его серьезности и искренности, грешит нечестивым отношением к жизни, то второе отличается непозволительным легкомыслием в отношении к мрачной стороне христианского эсхатологии.

Я отношусь к мрачной стороне христианского эсхатологии, к его dualistisch-tragischenmu пониманию истории. Нельзя сделать единственным руководящим мотивом жизни представление о неизбежной смерти, но изгнание из мысли памяти о часе смертном есть верх религиозного легкомыслия. Надо жить с полным уважением к жизни и заботливостью о ней, но жить не забывая о смерти и этой самой жизнью готовясь к ней.

Я закончу сравнением. В одном из своих весьма значительных по содержанию писем к покойной А.Н. Шмидт<sup>56</sup>, В.С. Соловьев рассказывает следующий сон, виденный о нем одной старушкой (А.Ф. Аксаковой): «Она видела, что ей подают письмо от меня, написанное обыкновенным моим почерком, который она называла *lettres d'atagridée*<sup>57</sup>. Прочтя его с интересом, она заметила, что внутри завернуто еще другое письмо на великолепной бумаге. Раскрыв его, она увидела слова, написанные прекрасным почерком и золотыми чернилами, и в эту минуту услышала мой голос": "Вот мое настояще письмо, но подожди читать", и тут же увидела, что я вхожу, стябаясь под тяжестью огромного мешка с медными деньгами. Я вынул из него и бросил на пол несколько монет, одну за другой", говоря: "Когда выйдет вся медь, тогда и до золотых слов доберешься»<sup>58</sup>.

Не у каждого в его сокровенном письме написаны золотые слова, но все носят в себе некую живую тайну, хотя и не всегда это сознают, все имеют личный о себе апокалипсис. Но он не может раскрыться, пока мы не израсходовали всех своих медных денег, не отдали жизни всего, что ей должны...

1909-10

## ВОЙНА И РУССКОЕ САМОСОЗНАНИЕ

I

Геологи учат, что в образовании земной поверхности участвовали силы вулканические, и наше обиталище создано рядом геологических катастроф и землетрясений. Расплавленная лава покрывается от времени прочной корой и одевается плодоносной почвой, а на бытом вулкане появляются цветущие поля, возникают уютные селения, в которых жизнь заводит свой пестрый хоровод. С течением времени утрачивается даже и воспоминание о давнем извержении, а твердость вулканических пород еще содействует всемобщему убеждению в прочности и незыблемости почвы, в полной обеспеченности жизни. Создается особое чувство *места и вера в место*, провинциальная приуроченность к своему *месту* — то, что иногда именно и зовется *местячеством*, и это чувство прочности места ласкает и пьянит, усыпляет и расслабляет. Оно кладет отпечаток на все мироощущение; оно есть незримый, но могущественный фон жизни; оно, как обертона, звучит во всех ее тональностях. И вдруг... снова происходит извержение вулкана, начинаяется землетрясение... Как карточные постройки, валятся уютные домики, пылают леса, рушатся горы, проваливаются в бездну плодоносные равнины. Не происходит ли одновременно такое же землетрясение и в душах людей, не есть ли это катастрофа и в мире духовном? Не потрясается ли в них привычная вера в место, в прочность и обеспеченность человеческого бытия на Земле, не никнет ли, как трава на огне, общее мироощущение мещанства?

16. *"И сказал им притчу: у одного богатого человека были хорошие урожай в поле.*

17. *И он рассуждал сам с собой: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих.*

18. *И сказал: вот что сделаю: сломаю житница мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое.*

19. *И скажу духу моему: душа, много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.*

20. *Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь фуку бозьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?" (Лук. 12, 16-20).*

Не осуществляется ли эта простая и мудрая правда Библейской Книги над отдельными лицами и целыми народами, как раз в такое время, когда они начинают более всего верить в прочность места и свою собственную мощь? "Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не знает его" (Пс. 102, 16). А они уповали на незыблемость этого своего места и в него верили больше, чем в творческую силу, вызвавшую к бытию и это место, и их самих. Это желание "устроиться на земле" прочно и окончательно<sup>59</sup>, притом со вкусом и комфортом.

<sup>56</sup> В моем распоряжении имеется лишь копия этого письма, доставленная мне, однако, еще самой А.Н. Шмидт. Оно помечено 23 апреля 1900 года.

Эта любовь к мести, как основа всяческого мещанства, не есть черта, свойственная только отдельным лицам или эпохам; она составляет общечеловеческое свойство, глубоко и, быть может, неискоренимо заложенное в душе сынов земли, которые простодушно, а по большей части и чрезмерно любят свою земную кольбель, отдавая ей и свой труд, и свою заботу, и свою нежность. Ведь так естественно лелеять свой угол в мире, и можно ли не любить, да и позволительно ли не любить своей родины, своего места в поднебесной, своих близких и кровных, своего языка и народа, своей жены и детей? Разве это не была бы неблагодарность, а что же чернее неблагодарности? Это чувство имеет свою естественную и беспспорную, хотя и низшую, ограниченную правду, которую, однако, надо исполнить, как и всякую кровь. А далее является уже психологически неизбежным, что каждый из нас, любя свое *место* на земле, не может не верить, если не до конца, то хотя несколько, и в его прочность, а постельку не может и не хотеть этой прочности. Ведь без этой любви, без этого, скажу я, естественного провинциализма души, нам нечего было бы и оставлять на земле, не с чем разлучаться, не от чего отказываться, не от чего освобождаться, за пределами этого чувства остается лишь свобода выражения не в тонах, но в полутонах и обертонах. Чувство земли, сыновства, почвенности, нечувствительного переходит в расслабляющее мещанство. Для человеческой слабости и духовной лени, при желании успокоиться на месте, всегда существует опасность возлюбить это свое место — сначала лишь немножко больше, чем это может быть допущено без потери душевного равновесия, без опасности для духовного здоровья. Но раз только инстинкту мещанства предоставлено хотя некоторое господство в душе, он становится уже despoticiskim и жестоким, калеча духовно свою жертвы. Восторжествовавшее же и утвердившееся мещанство становится враждебным свободе духа и встречает с ревнивой подозрительностью, злобой и тупым непониманием всякое сомнение в прочности места и в его незыблемости. Была однажды в истории человечества короткая, но блаженная пора, когда казалась совершенно побежденной эта кость места и вера в прочность — не только данного места, но и вообще всего мира, ибо чувствовали, жизненно, а не мыслью только знали, что "прекорд образ века сего"<sup>3\*</sup>. Этот короткий праздник для человеческого духа, наступивший для первохристианства после Пятидесятницы<sup>4\*</sup>, эта свобода от мира и неверие в место, великой радостью светил людям, как некоторый высший идеал жизнеощущения, и поэтому он снова и снова становился нормой для людей в эпохи духовного и творческого подъема. Римское мещанство устами знаменитого Цельса<sup>5\*</sup>, враждебно заклеймило тогда этих мечтателей, как изменников всему местному, отечественному, временному, и оно было по-своему право, хотя упреки эти не доходили до слуха тех, которые ведали иное, нездешнее отчество.

Застывшая кора, прикрывая собою распилененную лаву и для мещанского чувства жизни образующая непроницаемую преграду от стихии космического хаоса, не обманывала этих мечтателей, и они николько не верили в ее прочность. Время и место в их мироощущении не имели протяженности и как будто сливались в одну точку: "страницами и пришельцами", готовыми в каждый миг оставить насиженное место, чувствовать себя первохристиане, как те мужи, которые по зову: "встань иди за Мной"<sup>6\*</sup>, оставляли и место свое, и жизненное дело свое. Неоспорима религиозная правда этого мироощущения: трудно вместить его в такой полноте, вероятно, не каждой эпохе и дано вмешать. Однако, как внутренний голос, как антиномический корректив любви к мести, как незаглушимый зов издалека и из глубинки и, наконец, как сама суровая правда жизни, с которой приходится иметь дело каждому в своей личной судьбе в моменты жизненных катастроф и ввиду для всех неизбежного конца, — повелительно звучит это неверие в место; ибо ведь не только любое место, но и самое место мести, мир сей, не способен вместить жизни нашего духа, не может и не должен вместить. И бессмертная душа человеческая дороже целого мира. А мы, которые чувствуем себя роковым образом прирастаками к своему месту; ибо ведь не только любое место, но и самое место мести, мир сей, не способен вместить жизни нашего духа, не может и не должен вместить. И бессмертная душа человеческая дороже целого мира, от него; мы должны сознавать себя гражданами двух миров, которые, однако, в последней основе, в глубине своей, составляют один и тот же мир, только в двух его видах или состояниях. В этом двойственном, противоречивом самочувствии заключается и трупность духовного пути для человека, здесь же заложена и опасность постоянных уклонов и срывов то в одну, то в другую сторону, ибо одинаковым уклоном является здесь и легкомысленное, а потому в глубине своей неискреннее мироощущение, как религиозная фальшивь, как непризнание заповеди труда и сыновней верности матери-земле<sup>8\*</sup>, и, обратно, чрезмерная привязанность к мести и этому миру, не как нормальное, здоровое свойство души, но как ее болезнь и мещанское расслабление.

Очевидно, однако, что опасность второго уклона проявляется сильнее и интенсивнее, причем для человечества измеженного и цивилизованного она больше, нежели для грубого и примитивного; мещанство есть постоянная угроза и изнанка высокой цивилизованности, при которой хотя до некоторой степени побеждается бедность, достигается известное довольство и более или менее уточненный комфорт жизни, и, что еще важнее, в человечестве появляется сознание неограниченной моли для умножения этого комфорта. Человек ощущает себя тогда неким Прометеем мещанства, искусственным ковачом своей судьбы, мудрым хозяином, умеющим использовать свое место на земле и знающим ему цену. Причем цена эта поднимается тем выше, чем больше становится общий комфорт жизни, завоеванное ее благополучие. Развивается не только непосредственная любовь к мести, amor loci, но и особая философия мести и религия мести.

Едва ли я окажусь неправ, если скажу, что в этом глубоко осознанном атмосфере "loci", в этом гипертрофированном чувстве места, связанном с великими достижениями на поприще цивилизованности, и заключается основная особенность мироощущения новой Европы: комфорт жизни, понимаемый не только в грубом смысле различных внешних ее удобств, но и уточненных духовных вкусов, культурный эликсир, умение находить счастливую меру в пользовании всякими благами жизни, желание "устроиться на земле" прочно и с артистическим вкусом, — такова ее жизненная мудрость, такова духовная музыка новоевропейской цивилизации. Этим комфортом прежде всего импонировала и привлекала к себе Европа "варварские" народы, и этим же комфортом плененные — кто внешним укладом жизни, а кто строем научного образования, — начиная с эпохи Петра Великого, потянулись к ней и наши соотечественники. Должен сознаться, что мне давно уже стало страшно от современной Европы, и я перестал туда ездить: мистическую жуть на меня нагоняло европейское чувство жизни. На этой безудушной мостовой, в стальных объятиях европейского комфорта как-то чувствовалось, что теряешь Бога в себе самом: "старый бог" умер, — что-то назойливо шептало в душе, сдайся в непосильной борьбе, поклонись новому Богу, здешнему, местному, "имманентному", а ими ему Комнорт. И остро чувствовалось неиздоровое и опасное, расплевающее влияние в этой атмосфере, и тонким ядром этого мироощущения отправлялось духовное творчество новой Европы, ее самосознание и самоопределение. Да и как же иначе? "Где сокровище ваше, там и сердце ваше"<sup>19</sup>, из сердца исходят помышления, а ими запечатлевается мудрость века. Атмосфера "loci", это любовь не к живому, но к вещам, и не к людям, и не к гомункулам, и не к органическому, но к механическому, может быть, вообще, обнаруживается в разных направлениях. Остановимся кратко на самых основных.

К чисту наиболее распространенных и влиятельных идей новоевропейской эпохи принадлежит, бесспорно, идея *"прогресса и эволюции"*. Эта идея многолика в своих выражениях, она едина в существе. Она есть не что иное, как динамическое выражение атмосферы "loci", его проекция в движении, причем под внешним образом движения здесь скрывается полнейшее признание косной неподвижности жизни. Существует, по этому учению, непрерывное и непрестанное развитие и движение, которое совершается силами, уже наличными и обнаруживающимися, науке известными и потому подлежащими учету и исчислению причин и следствий: прогресс есть функция чисто количественного роста, раскрытие уже имеющихся налицо энергий, и потому его единственное орудие есть время. Прогресс эволюционен (или же, наоборот, эволюция прогрессивна): он совершается под действием определенного круга сил, причин и следствий, в нем нерушимо блещет замкнутость и наличная данность мира, как единственно возможная. Для первохристиан, которые не верили именно в эту замкнутость мира и нерушимость места, но чаяли нового творения и преображения, был бы совершенно не понятен этот апогеоз места, и они с ужасом отвергли бы

Эти ковы князя мира сего. И, напротив, наш век еле удостаивает синис-  
ходительной улыбки тех, кто не верит в эту прочность места, как  
было непреложно удостоверяемую всем жизненным и историческим  
опытом, а главное, несокрушимостью и неограниченностью закона  
причинности, как наилучшей и вполне надежной гарантии эволюцион-  
ного прогресса. В этом прогрессе и разрешаются сами собой, согласно  
теперешней вере, все трудности жизни, стлаиваются все ее против-  
оречия. Пусть будет путь этот долгим и тернистым, но прогресс несет  
в себе достаточно средств для извлечения всех зол: нет трудностей  
неодолимых и вопросов неразрешимых; есть бедствия, но нет трагедии,  
которая была бы не устранима прогрессом. Глубокой успокоенностью  
в этом смысле вера в прогресс есть выражение глубокого консерватизма  
духа; она есть местная, пососторонняя или, как сказали бы философы,  
имманентная ориентировка жизни, философия застывшей на краю  
лавы, которая во что бы то ни стало хочет забыть о своем про-  
исхождении, как и о том, что под ней грозно шевелится огненный хаос.  
Апогей loci окрашивает собой и философское самосознание ново-  
европейской эпохи, он избирает из различных возможностей фило-  
софствования именно то, что ему наиболее сродно и не противоречит  
его чувству места, этой универсальной пососторонности, выражаемой  
нейщей в признаниях данного разреза бытия единственно возможным. За  
него пределами, гласит мудрость века сего, ничего не существует, и  
потому нет ничего, что бы не определялось мерою и весом и не  
исчезнуло по таблицам логарифмов. Нет Бога на небе, который бы  
вмешивался в земные дела, и нет хаотической стихии, которая бы им  
угрожала из бездны: человек остается один на земле, он есть единствен-  
ный хозяин мира, этого своего места, и может невозбранно и  
неограниченно творить на нем эволюционный прогресс своей. Если та-  
кою воли сердца и таков голос apogey loci, в нем властно звучащий, то  
отсюда рождаются и соответствующие философские "помышления". Было  
бы, конечно, нелестно думать, чтобы таким, в сущности, низменным  
желаниям могла вполне определяться и истерпливаться философия,  
хотя сколько-нибудь достойная своего имени, и подлинные философы,  
узвленные "любовью к Софии"<sup>10\*</sup>, неизбежно являются постольку и  
благородными изменниками своей эпохи, теряют с нею соприкосно-  
вение, поднимают против нее знамя мятежа, перестают быть ее сов-  
ременниками, однако и сами они при этом неизбежно заражаются и от-  
равляются ею. Притом и она слышит и усвояет себе из философских  
мотивов только те, которые ей нужны и удобны, ибо жизнь и здесь ос-  
тается первое важкой философии (*igitur vivere, deinde philosophari!*<sup>11\*</sup>).  
Самые влиятельные философские течения идут на службу господ-  
ствующему миросознанию, причем течения эти очень различны по  
своему философскому характеру и ценности: это – кантовский транс-  
цендентализм с его духовными разветвлениями, материализм разных

оттенков, позитивизм разных наименований, объединяющиеся на том, что все они называют себя, в том или ином смысле, *научного* философии, хотят осуществить идеал научности в философствовании. Человеку, по учению Канта, доступно только познание феноменов, или явлений, область этого феноменального мира, так сказать, жизненное место, определяется нашими же познавательными формами и ими самого замкнута; за пределами этого-мира явлений не может возникнуть ничего, для нас доступного и ощущимого, а это практически значит, что вообще не существует ничего, кроме этого места, жизненно утверждаемого нами как арена для человеческой воли. Хотя собственное мировоззрение Канта было богаче и сложнее, таков был практический вывод из критицизма Канта, который, по-разному, и был сделан в новейшем неокантинстве, с одной стороны, но и еще в классическом немецком идеализме – с другой. Завершающая развитие последнего гегелевская метафизика, с ее выводом, что "все действительное разумно, а все разумное действительно" и с апофеозом прусской государственностей как земного лика Абсолюта, уже метафизически устанавливает незыблемость места, окончательно его абсолютизирует. Но то же самое по-своему делает и, например, крупнейший из представителей неокантинства Коген<sup>12\*</sup>, такую же абсолютность присваивающий научному методу. Несколько на иной манер но той же самой жизненной мудрости учит нас позитивизм: О. Конт, Спенсер и др. Сущность вещей нам неведома, мы знаем только явления ("факты") и их законы, из коих основной есть универсальный принцип эволюции – прогресса; будем же постигать этот закон, чтобы пользоваться им: *savoir c'est précédent*<sup>13\*</sup>. При всей огромной разнице в философском содержании учений Канта и Конта, нет ощущительного различия в их жизненном выводе и практическом мотиве: это тот же самый феноменализм, только с различной четкостью и тонкостью выражаемый. Но не иному ведь учит нас и материализм, грубый и уточненный. Сущность мира есть материя, совокупность неделимых атомов, группирующихся по определенным законам, или же сил, энергий, теплья заменивших собой прежние атомы. Игрою этих законов и создается наша вселенная, и мы в ней, причем эта материя в человеке, в его сознании, достигает способности понимать свои собственные законы. Фактически в явлениях природы и познается самая сущность вещей – "was ist drinnen, das ist draussen"<sup>14\*</sup>, – может и материализм применить к себе этот популярный и многозначный гётевский стих. И материализм оказывается тем же феноменализмом, только метафизически наиболее притязательным: именно там, где даже Кант и Конт еще говорят о непознаваемой сущности вещей, там материализм открыто ставит знак равенства между сущностью и материй, тем самым исповедуя абсолютный метаморфический феноменализм.

Из того же источника проистекает и основное свойство духа современности – пафос научности<sup>15\*</sup>, стремление стать научно-методичным во всем: в изучении и размышлении, в религии и искусстве, в хозяйстве и войне, и сама философия хочет быть прежде всего научной и универсальный методизм принять в самое сердце. Наука же, как таковая, по существу своему топто и может быть феноменализмом, иметь дело только с явлениями, и при том еще методически преобразованными и систематизированными. Как с наибольшей ясностью удалось показать Г. Когену, наука сама порождает свой объект, свои проблемы, творит свой мир, основное качество коего есть непрерывность, закономерность, верность методу, причем философия и хочет быть самосознанием этого методизма. Наука при этом как бы сама создает для себя некое абсолютное место – это ли не атом *loci* в его априоре! Наука становится поэтому не только главным орудием прогресса, но и больше всего убеждает человека в абсолютности *места*; она созидает над ним, в защиту от неба с опасными его глубинами, бронированный, непроницаемый купол, под которым, как бы в подземелье, и живет духовно современное человечество. Мир утрачивает в человеческом сознании свою глубину, становится плоскостным и маломерным.

Соответственно основному духу века определились и формы общественного самосознания, и они, выиграв в четкости, потеряли в полноте и многозвучности. Средневековая Европа искала таких общественных форм, которые хотя бы несколько приближались к начертанному Августином идеалу *civitas Dei*<sup>16\*</sup> – теократической, религиозно-насыщенной общественности: ее домогались, каждая по-своему, и папская церковь, и священная империя, и византийское самодержавие. Хотели религиозной цельности, жаждали нерасторжимости небесного и земного: пусть это стремление никогда не осуществлялось, но идеал был таков: пусть это стремление никогда не осуществлялось. Не хотела средневековая Европа разъединяющего анализа и мертвого механизма, не хотела секуляризации ни в чем: ни в праве, ни в хозяйстве, ни в науке, ни в искусстве. В новой Европе, напротив, восторжествовал анализ и секуляризация<sup>17\*</sup>: религиозное чувство жизни, восприятие ее глубины и многомерности, былонейтраллизовано и, так сказать, инкаспулировано. Оно получило для себя свою особенную область в виде церковного союза, от которого обособилось государство, осознавшее себя как организацию абстрактного, объективного права, да и сам человек начал себя чувствовать прежде всего как гражданин. Правовое государство, вначале бывшее лишь порождением теократической живеванием и урегулированием, и потому рассматривает отдельные личности только в качестве представителей таких интересов. Появилась мысль и убеждение, что интересы вообще могут быть не только размежеваны, но и приведены в известное равновесие, гармонизированы

правовыми регулированиями, а поэтому правовое государство именно и призвано путем права создать нормальное общество, вовлечь царство Божие на землю. Отсюда естественное стремление распространять область права шире и глубже, придав ему не только условный и провизорный характер, но возведя его в идеальную норму и основу общественности. На этой почве вполне логически зарождается идея дальнейшего расширения права в социалистическом государстве, которое ставит себе задачей расширение области правового регулирования до небывалых размеров и хочет осуществлять правовую волю там, где доселе царила неправовая сила, частная воля. Расширение права совершается и в другую сторону, именно крепнет идея международного права, которое обещает возворот вечный мир между людьми, превратив цель государства и цель нарочности в правоподушных субъектов. Обеспечение вечного мира внутри и вне, идеал рахомана, понимается здесь как предельная задача правового государства. Так этот вопрос был уже поставлен юридическим, по характеру своему, умом Канта, который связывал обеспечение вечного мира с торжеством демократической конституции<sup>18</sup>: что сказал бы кенигсбергский пред лицом теперешней войны, в которой объединились, кажется, все существующие формы конституций!

В параллель этому юризму в общественном самосознании новой Европы следует поставить и его экономизм. Особенность современного экономизма<sup>19</sup>, не в том, конечно, чтобы хозяйственные вопросы теперь впервые получили свое значение, но в том, что хозяйственное самосознание никогда еще так не обособлялось и не получало такой автономии, как теперь. Хозяйственная деятельность людей принципиально всегда признавала над собой высший суд и поверила себя по вышнему критерию, каковым является религиозный и нравственный закон; в принципе, по крайней мере, и хозяйство сознавало себя частью теократического целого. Новая Европа освободила хозяйственную стихию, одновременно с общей секуляризацией произошла и хозяйственная: с полной откровенностью и нравственной безмежтежностью выступает теперь "экономический человек"<sup>20</sup>, с его наивным и золотым интересом. Если в праве человек рассматривается как представитель юридических интересов, то в хозяйстве он же определяется как субъект интересов хозяйственного. Так называемый экономический материализм, объявляющий универсальным принципом жизни борьбу экономических интересов и хозяйству подчиняющий все, чему прежде, по крайней мере, в принципе, само оно подчинялось, есть не только популярная философия нашего времени, но и выражает его жизненное самочувствие. Это аморальная мораль борьбы интересов получает различное направление, заостряется в разные стороны: в одних случаях она становится опорой бесчеловечной эксплуатации труда, тирании капитала и взаимного поедания, именуемого свободной конкуренцией; последняя ведется притом не только между отдельными предпринимателями, но и целыми народами, — ведь и теперешнюю войну отчасти можно рассматривать как проявление этой свободной конку-

ренции, прежде всего между Германией и Англией. В других случаях эта же самая мораль экономизма и борьбы интересов получает социалистический облик и оправдывает междоусобную войну между классами, и подобно тому как правовое государство находит, по концу размежевав интересы, тем самым их и примирить, так и социализм через путь классовой борьбы побеждает всякую борьбу экономических интересов и устанавливает гармонию хозяйственных этономов. Социализм, при всей для него лишь моменты в эволюции, ее узловые точки, но он вполне разделяет веру в незыблемость эволюционного пути, в отсутствие каких-либо апогеи и в этом существенно консервативным, а потому и эволюционным, как и все мещанско-самочувствие. Толчки революции суть людиноядом, будущее с его новизной. Итак: феноменализм, юризм, экономизм и, как думаете с его новизной. Итак: феноменализм и рассудочности, рационализм их общая основа, торжество методизма и раскудачности, распластана мысли и жизни, — такова музыка времени. На части распластана человеческая жизнь, разыгры ее члены: она сделалась внешне богата, пестра, многообразна, но внутренне обеднела, иссохла и как-то спалась. Излишне говорить, как неблагоприятна для религиозной жизни эта атмосфера, как бедна религиозно-должна казаться такая эпоха с ее неограниченностью, пантомидизмом, расчетливостью, всем этим богатством скучности. Конечно, человеческий дух и в плоскостях эпохи своей истории сохраняет свою благодатную глубину и порою слышит голоса, из нее доносящиеся. Дух тоскует и задыхается в тисках железного века и порою глухо протестует против него. Эта неудовлетворенность получает косвенное выражение в повышенном эстетизме наших дней, в несоразмерно большой роли искусства с его мистическими порывами и озарениями, и хотя мещанская эпохи не в силах создать своей собственной стилю и породить большое искусство, пожалуй, кроме музыки, более возбуждающей тоску по небу, чем ее утоляющей, зато развивается настоящая погоня за прекрасным, в небывалой степени "увеличиваются способность понимания чужого искусства. Напротив, значение религии не находится в соответствии успехам эстетизма уже потому, что она лишена своей универсальной царственной роли во всех областях жизни, но сведена к положению отдельной стороны духа, одного из проявлений "культуры". И эта всесобщая секуляризация и партикуляризм жизни означает духовное оскудение и слабость, контрастирующее росту богатства и могущества. Нелегко вынести соблазн богатства без нарушения духовного равновесия. Обмирщение, обмешивание есть опасность, угрожающая высокой цивилизованности, гиперкультурности.

Духовный силуэт, нами бегло набросанный, выражает черты, ко-

нечно, не одной только новоевропейской эпохи; однако нужно сказать, что в истории еще не было цивилизации, достигавшей такой мощи, как по внешнему, количественному масштабу, так и по силе духовного влияния. Если мещанство всегда потенциально присутствует в человеке и духовно его подстерегает, то положительная его энергия никогда еще не была так велика, как теперь, и потому новоевропейскую эпоху в истории следует определить как мещансскую по преимуществу: быть может, это не просто упадок, грех, заблуждение, бессмыслие греховой природы человека безнаказанно вынести бремя цивилизации, но и неизбежная духовная жертва, уплачиваемая человечеством ради достижения еще не ведомой исторической цели.

В эволюционный кругозор мещанства не входит идея катастрофы, гибели, землетрясения, напротив, всем существом своим оно ее отрицает, забывая, что под тонким слоем застывшей лавы скрывается пламя, и что человеческая мысль ограничиваются только поверхностью. Но вот неожданное, невероятное произошло. Совершается катастрофа, опрокидывающая сделанные доселе выкладки и расставы... Сразу старели все руководства истории, социологии, политической экономии, социальной политики, статистики. Начался всеобщий пожар комфорта и цивилизации. "Производительные силы", темп развития коих так уверенно предрасчислила экономическая наука, сгорают в огне великой войны. Объят пламенем мировой капитализм. Что же теперь пред лицом этого пожара может сказать вера в эволюцию, основанная на убеждении в прочности и нестораемости здания, в невозможности провалов и перерывов в ходе развития? Конечно, вполне возможно причинно и эволюционно объяснить и происходящее ныне, но верно то, что теперешний поворот истории совершенно не предполагался эволюционными схемами, является для них катастрофическим сюрпризом. Самые смелые, считавшие себя революционерами, эволюционисты, мечтали лишь о захвате власти и перераспределении благ, происходит же нечто гораздо более погрязшее, чем все бывшие доселе революции. Была Бельгия — fuit Belgica<sup>21\*</sup>, "промышленная", социалистическая, кооперативная, представляющая собой гнездо мещанского уюта в Европе; она давала основу для разных заключений о настоящем и будущем капиталистических стран, о "социализме в действии". И вот ныне та же Бельгия, скипетраясь, лишенная своего *Места*, в прочность которого вчера еще так крепко верилось; не покажены ей "производительные силы", погублена промышленность, стали фабрики и кооперативы, будущее превратилось для нее в какую-то зияющую дыру, темную загадку. Напряженнейший апогей loci внезапно сменился здесь иступленным апогей fati<sup>22\*</sup>. И не есть ли эта неловинная и великолушная жертва войны лишь наиболее яркий символ того, что происходит ныне со всем цивилизованным миром? Не совершается ли и с ним, хотя в малой степени, той же потери чувства места, веры в его прочность, незыблемость, составляющей опору мещанства?

И такое духовное освобождение, ибо это, несомненно, есть освобождение, приносит с собой мировая война. Своим нещадным молотом

бог войны разрушает кровли уютных домиков, в которых устроилось человечество, и оставляет людей снова под кровом бездононого неба. Он совлекает мещанина с европеца, иногда прямо с него кожу, и тогда пред изумленным миром предстает средневековый рыцарь, который, оказывается, не умер, а только притаился в европейском бокорге. Во всей Европе, как будто неожиданно для нее самой, прощущая старая доблесть, и здесь опять-таки живой эмблемой является Бельгия — доблесть белгийская. Европа еще духовно жива, мещанство оказалось болезнью, которая не затронула жизненных органов, такова радостная, благая весть этой войны. Там, где вилелось порою словно духовное кладбище, царство комфорта и цивилизации, неверия и расчета, ныне вспыхнуло пламя, испепеляющее многое из того, что действительно сожаления, и отцепляющее шлаки от чистого металла.

Чем же совершается это освобождение, каково силою вызвано это начало духовного воскресения? Что оказалось сейчас для европейского человечества сильнее, нужнее, спасительнее ее цивилизации, его науки, его техники? Пусть странно, а для многих нико прозвучит мое слово, но скажу его: это воскрешение приносится смертью, *откровением смерти*. Над миром стала смерть, о которой забыли или, вернее, хотели забыть, и, как небесный благовест, как предвестие грозной трубы архангела, зазвучала в сердцах ее весть. И се —

Открылись веши зеницы,  
Как у испуганной орлицы...<sup>23\*</sup>

Смерть старательно изгонялась из мещанского обихода. Мещанство не любит картины похорон, и покойников из первоклассных отелей на разных курортах обыкновенно уносят ночью и незаметно. У смерти стараются отнять ее торжественно-мистический характер, не услыхать ее откровения, заглушая его тихий шепот светскими церемониями, напыщенными речами. Конечно, невозможно упразднить смерть, которая во всяком случае вносит катастрофический момент во все эволюционные построения, по крайней мере, что касается личной жизни человека. Но было стремление духовно отгородиться от смерти, по крайней мере, возможным устранением ее мистики и самой мысли о ней: одни проповедовали, а иногда и применяли, вслед за древними эпикурейцами, предусмотристельное самоубийство (как французский социалист Ладрафт<sup>24\*</sup>), другие стремились научнонейтрализовать смерть (Мечников<sup>25\*</sup>), третьи в паническом ужасе трепетали перед неодолимой судьбой (Мопассан), но во всех этих случаях смерть рассматривалась как неприятный биологический эпизод, а не как грань, место встречи двух миров, новое рождение. Церковь, напротив, учит нас молиться о даровании "памяти смертной" и о "христианской кончине живота", она повелевает постоянно иметь в душе мысль о смертном часе, пред лицом его проверять земные ценности: вся жизнь в известном смысле может рассматриваться как приготовление к этому часу. Внимать откровению смерти вообще учит всякая серьезная религия, которая тем самым неизбежно является отрицанием мещанства, неограниченной

привязанности к мести, к этому миру. Смерть есть торжественный и радостный апофеоз праведной жизни, ее последний и зрелый плод. Умбриакий Сократ, образ которого живописал Платон (в *Федоне*), чрез века светит нам и поныне, как светила, и ученикам его эта превидная кончина, и воистину смерть Сократа явилась самой действенной и жизненной его проповедью. "В память вечную будет праведник", поет Церковь. Смерть есть тихий свет истины, пред которой блекнут все ложные ценности. Этот свет пытались закрыть или затемнить разными подложными ценностями, но пламя вечности снова вспыхнуло над миром. Война несмоверно приблизила к сознанию смерти, сделала ее реально ощущимой, а это означает не что иное, как то, что мировое чувство эволюционно-мешканское должно уступить место религиозно-трагическому. Жизнь есть трагедия, великана очистительная жертва – это религиозное сознание, которое пытался заглушить и притупить интересы, личные или классовые, но святыни и радость жертв и тайна эволюции, – вот чему учит современная история, вот что вдруг стало теперь ненабожно становится всеобщим. Не экономическое понимание истории, но мистическое понимание самой экономики; не утилитарные сурожу оспить начинает уступать место воинственным рыцарям. Никто не знает, насколько глубоко пройдет и всесторонне совершился этот возрождение, но несомненно, что своды духовной темницы уже разрушены и над головами показалось синее небо. Происходит великий поожар мешканства, и не случайно, что пожар этот захлоп самая мешанская страна, ибо Германия в семье европейских народов есть страна, духовно наиболее обремененная. Она обременила, обмиршила христианскую религию, приспособив ее к амор loci, выделив и подчеркнув вней преимущественно элементы земной, практической, бытоустроющейшей морали, она развивала в себе основные мешканские добродетели – deutsche Tüchtigkeit<sup>26\*</sup>, точность, методичность, трудоспособность, научность. В ней с наибольшей силой воплотился амор loci, и потому германству по праву принадлежит место корифея в новоевропейском хоре. Германия справедливо сознала себя во главе новоевропезма, она ощущала, как свою историческую миссию, огнем и мечом крестить народы во имя земного, европейского бога, per fas et nefas<sup>27\*</sup> насаждать мешканскую "культуру". И в этом лжеmessianisme своем она вплела в безумие гордости и временно потеряла даже свой человеческийлик. Но этот меч обратился на нападающего и, вместо того, чтобы доставить окончательное торжество мешканской культуры, он вызвал ее кризис и явное банкротство. Как ветхая чешуя, спадает с лица Европы плесень мешканства, и оживает бывшая рыцарская доблесть. И это сделала война, которую уже теперь, в сознании ее великой всемирно-исторической миссии, народы зовут и священной, и освободительной.

ление нравов, будит в людях низкие инстинкты, толкает к окончательной гибели погибающее. Да, так. Мы пережили Лувен, Калиш, Реймс<sup>28</sup>, переживаем повседневно насилия и преступления, становимся свидетелями глубоких падений, но не нужно забывать, что все это не создается, а лишь выявляется войной, вскрываясь из-под лицемерной мышленности выявленна рыцарская Бельгия; понимает снова к небу свои очи Франция; крепнет стальной дух Англии, и, быть может, приближается тот грозный час, когда прозреют наконец и омраченные очи тевтонов. Пусть будет страшен для них этот час, но он может стать для них единственным спасительным, ибо лишь в огне может возродиться то, что духовно живо еще в германском гении. Другую возможность, что немцы окончательно закоснют в своем ожесточении и замрут духовно, пока мы лучше не будем предусматривать.

Церковь учит нас молиться об избавлении от бед: от болезни, труса, потопа, огня, меча, нашестья иноплеменников<sup>29</sup>. Людям бывают спасительны удары и испытания, но мы не можем, не смеем их накликать – ни на себя, ни на других, ибо это значило бы перекидить границу дозволенного для человека, приписывать себе разум Провидения. Мы лишь должны готовить себя к мужественному и достойному несению свыше посланного креста. И до войны священою обязанностью всех было охранять мир. Но когда события влекутся уже человеческой силой и в громовых раскатах явственно слышится голос Судии: *Мне отмщение Аз вездом*<sup>30</sup>, когда Европа обретает трагическую судьбу свою и свершается очистительная жертва – нам следует собрать все свои силы, чтобы стать достойными современниками своей истории, а не маломысленными и лишь испуганными зрителями. И не должны ли мы, не колеблясь, признать, что настоящая война, этот бич Божий, ведет за собой не только разгром, но и духовное пробуждение?..

II

Ложь крайнего славянофильства, которая кладет на него печать чего-то местного, ограниченного и провинциального, заключается не в стремлении понять Россию и Запад в их различии, но в их чрезмерном противоположении и даже разъединении, между тем как они суть неразъединимые части христианской Европы, имеющей некую общую и непонятную вне этого единства духовную судьбу. В искушении такого отъединения и заключался славянофильский обман старой и новой Руси, который объясним из инстинкта самосохранения как выражение испуга перед европейской опасностью или же как историческое и национальное маловерие, а вместе и высокомерие. В настоящее время не приходится много ругать против лопатовского соблазна, которому были чужды и вожди славянофильства (Киреевские и др.), ибо с

ним уже порешено историей. Сейчас гораздо важнее подчеркивать положительный смысл славянофильских утверждений, именно, веру в то, что Россия призвана к духовной самобытности и есть существенная и необходимая часть духовного организма Европы, а не простая ее провинция или только количественное расширение. Без России и сама Европа не может стать настоящей Европой, достичнуть своего предназначения, приблизиться к окончательной зрелости, соответствующей ей концу мировой истории, ибо для всякого должно быть ясно, что судьбы России имают существенное значение и для судьб Европы, а чрез нее и всего мира. Поэтому-то в отношении к Европе, изначала нашей истории, нам приходится одновременно испытывать и эрос, и антиэрос, притяжение и отталкивание – все, что угодно, только не равнодушие или холодную чуждость. Что же касается западного мира, то приходится сказать, что до сих пор со стороны Европы в отношениях к России не было, да и не могло быть наружнейшей сознательности (о чем соловьев еще Достоевский<sup>31</sup>): в них было немало высокомерия учителей к ученикам, цивилизованности к "варварству", и, быть может, только теперь, перед лицом великих событий, Европа впервые начинает признавать Россию и познавать ее духовную сущность. Но все равно: окончательное признание и духовная взаимосвязь востока и запада есть только вопрос времени, и для нас, русских, горизонты истории здесь как разница между православием и иными формами христианства. Видны шире и дальше, нежели для наших европейских собратьев. Однако это единение возможно только на основе признания глубочайшего духовного различия между Россией и западной Европой, прежде всего как различия между православием и иными формами христианства. В углубленном сознании этих различий, в этом обособлении России от Европы, имеющем конечной задачей достойное их единение, и заключается та великкая правда, о которой возвещал нам Достоевский, и состоит поистине бессмертная заступа славянофильства перед родиной и всем миром<sup>32</sup>. Европа, давно уже став для нас школой, всячески соблазняла нас духовно, и с опасностью этого соблазна, грозившего нам обезличением, а следовательно, и духовной смертью, именно и боролась славянофилы. Однако; даже когда и соблазнилась новоевропезмом русская душа, она воспринимала его по-своему, переводила на свой язык. Мещанская оседлость, атом loci европейской цивилизованности, стала вспахивать в ней с иным мироощущением. Несмотря на историческое тысячелетие за плечами, мы еще очень молоды, иной скажет, даже непростительно молоды, способны мальчиществовать – так судят нас наши немецкие лядьки. И доселе в русской душе живет стихия степного кочевника, ей слышатся звуки безмерности и необыкновенной ширы, ею чувствуется лышица грудь матери-земли, давно прикрытая на западе асфальтом и камнем. Эта воля и ширь наполнили души свои песни и сказки, свою мечтательную тоску по неведомому вязе, златокудром Царевиче, который некогда добудет заветную Жар-Птицу и освободит прекрасную Царь-Девицу подвигом любви своей. Все здешнее, местное, косное существует только предварительно, только так, до времени и между прочим, в душе же живет и ширится одна

мечта – о Бурущем. И этой кочевнической стихии, этому мистически-сказочному самочувствию, которое родилось в душе не из науки с ее рационализмом, но из мифа и песни, отвечает простодушная и детскими вера, народное русское православие, которое, в свою очередь, научало народ наци воспринимать все земное как преходящий лик этого мира, научало вчерашних кочевников религиозно чувствовать себя странниками и пришельцами, взыскиющими иного, нездешнего града. Придет день, учит нас вера наша, и погибнут небеса с шумом, и небо совьется, как свиток, и стихии стоят, и явится на небе знамение Сына Человеческого. История есть лишь предварение Алекаплисса, да и началась уже и самий Алекаплис. Иные веруют еще при этом, что раньше мирового конца произойдет, в пределах истории, некое частичное преображение – однако тоже не эволюционно, а катастрофически – сверкнет и озарит своим светом. Все мы, верующие и неверующие, ученье и неученье, даже когда и утрачиваем эту веру в своем сознании и служим богам иным, как наша интеллигентия, все же носим в своей душе эту апокалиптическую стихию, все мы немножко не верим подлинности существующего и его окончательности, втихомолку подсмеиваемся над умеренным и аккуратным немцем, без колебаний в него поверившим, а про себя думаем, "что все, видимое нами, – только отблеск, только тени от незримого очам"<sup>33</sup>. И это неверие миру странным образом объединяет и русского революционера, и русского монаха, и раскольника, сожигавшего себя в срубе, и Мишеля Бакунина с его верой в разрушение как созидание<sup>34</sup>. Поэтому-то, вообще говоря, русский народ так трудно цивилизуется в европейском смысле слова, при всей высокой духовной культуры и одаренности своей, ибо добротелы, вытекающие из атом loci – добротелы меньшества, тую приваются к его духовной природе. Этому же содействовала и тяжела, страшна история наша, суровая природа и бедность наша, вся та внешняя убогость нашей жизни, которую раньше всего другого видят и презирают "гордый взор иноzemенных"<sup>35</sup>. Такова духовная почва, на которой произошло в русской душе столкновение тех начал, которые обычно называются западничеством и славянофильством. Чем же явилось в действительности это русское западничество и в каком отношении стоит оно к реальному европеизму?

Женственная душа России при самом историческом рождении своем обречена была в христианском крещении, с которого и начинается русская история. Таким образом, уже в начале своего странствия в пустыне она приняла нерукотворенную скимнию и священный ковчег<sup>36</sup>, который хранить любовно в сердце своем она была привдана. Этот ковчег и скимния есть восточное Православие, принятое св. равноапостольным князем Владимиром, духовным зачинателем святой Руси. В этом ковчеге заключено было не только вселенское христианство в его неповрежденности и чистоте, но и все духовное наследие эллинского генезиса, которое является безусловной основой европейской культуры как некий первозданный Эдем, сверкнувший своей божественной наготой на этой грешной земле. В восточном, византийском, православии in

писе<sup>37</sup> заключено все элинство в его неумирающих ценностях: в его богословии, мистике, литургии, иконографии, архитектуре. Здесь претворено то, что было религиозно подлинного в эллинской религии и мистике, трагедии и пластике: Дельфы и Элевзин, орфика и пифагорейство, Деметра и Дионис<sup>38</sup>, архитектура и эллинское вазное, художественно доказавшее божественность человека; сюда вошло все, что было великого в величайшем умозрении эллинов, ибо Платон и Плотин, Пифагор и Парменид, Анааксагор и Аристотель интегрально восприняты и живут в христианском богословии. И идя спереди назад, можно наследить и ощутить эту связь. Вообще элинство есть как бы некоторое натуральное православие, как и православие содержит в себе стихию облагодатствованного элинства<sup>39</sup>. Вот что получила Русь от Византии как духовное приданое, через апостольское дело св. Владимира. Но мы несчастиво не знаем и не понимаем до сих пор этого начинаем их воспринимать лишь в западной обработке. Поэтому по высоте своего культурного призыва мы боялись Запада, который наследовал культурному своему наследию мы боялись Сокровищ и творческих их опознать. Мы не умеем видеть своих сокровищ и мотивов для творчества и осознали еще своих собственных тем и мотивов для творчества и языческой реставрации гуманизма. Но доселе мы не оказались на отпечаток чего-то надземного, нездешнего, с напряженной устремленностью вдаль и ввысь, но без достаточного атома логи, нужного для духовную, сверхкультурную сущность своего христианства, сверхземного, культурного делания. И сверхземно-аскетическое восприятие православия, и кочевническая стихия, свойственная нашей исторической юности, одинаково не содействовали выработке добродетелей мещанства: хотя мы, правда, не усвоили его пороков, но мы не отдавали должного и его правде, как долгу исторического послушания, остается пустым, но само собой покрываются чертополохом с сорными и вредными травами. В нашей же истории и без того было довольно этого чертополоха: достаточно вспомнить долгие междуусобицы удельного периода, нашествия половцев и печенегов, татарское иго, сопранье Руси и непрерывные почти войны на севере и юге, востоке и западе, наконец, многочисленные язвы нашей теперешней общественности. Неудивительно, что когда кочевнический период внешней и внутренней истории нашей "закончился", мы почувствовали тогда свою неприспособленность, свое "варварство", которым и доселе клеймит нас наш кичливый враг, являющийся культуртрегером мещанства. И внешняя, и внутренняя нужда настоятельно говорили нам о необходимости цивилизации, т.е. той, хотя и ограниченной, правды мещанства, непр

нание которой жестоко мстит за себя. И пред нами уже стояла готовая школа цивилизации, откуда можно было научиться этой науке мещанства — западная Европа. Конечно, я не хочу этим сказать, чтобы историческое дело Европы сводилось без остатка к мешанской цивилизации и было лишено творческой культуры: совсем нет, и даже наоборот. Европа свое, в сущности, менее богатое наследие в силу и более благоприятных исторических обстоятельств, и творческой энергии своей сумела воплотить в создании великих национальных культур, которые, как все творчество, имеют отпечаток конкретного, индивидуального, национального, а потому и общечеловеческого.

Россия, хотя и имела богатейшие задатки духовной культуры, но, будучи слабо цивилизована, опустила необходимость цивилизации, и это сознание выразилось в Петре Великом, этом духовном отце русского западничества. И в этой же самой была правда западничества. Запад был необходиим нам на земном, эмпирическом плане, прежде всего, как школа техники, недостаток которой парализовал наше духовное творчество. Запад нужен нам и как сокровища духовной культуры, подлинных творческих ценностей, ибо это знание должно было сделать нас духовно богаче, свободнее, шире, человечнее, одареннее, для собственного творческого самоопределения. Но, конечно, ни западная цивилизация, ни западная культура не призваны угасить наш собственный дух, задавить наш собственный творческий порыв, ослабить в нас духовное самосознание, вынудить нас к отречению от духовного дара, полученного нами при крещении. Будучи учениками, отправляясь в школу, мы обязаны смотреть на это лишь как на вынужку и никоим образом не должны допускать себя до утраты духовной индивидуальности, до внутреннего онемечения, столь ныне распространенного, и до величайшего, смертного греха — духовной измени своей родине. В русском "западничестве", силуо вещей, благодаря трудности нашего исторического положения, именно значительному старшинству Европы, появлялись иногда черты этой духовной экспатриации, и это со всем остротой и болью почувствовало было в славянофильстве и вызвало в нем реакцию, которая, может быть, и заходила иногда далее, чем следует. Если западничество в своем европеизме плохо различало истинную культуру и внешнюю цивилизованность, духовные ценности и технические навыки, то такое смещение, лишь в противоположном направлении, повторялось и в славянофильстве, которое правую западную народного духа и вверенных ему сокровищ эллино-русского православия соединило с некоторым, хотя и невинным, провинциализмом.

На почве вышеописанного в Русской душе возник как бы роман с Западом, о котором даже и не подозревают европеизцы. Наше западничество, конечно, всегда отличалось от подлинного самоотлучения Запада, от западности, оно было свободным переложением на музыку русской души некоторых мелодий западной жизни, однако без самого существенного и характерного для нее, без западного мироощущения. Правда, мы воспринимали и воспринимаем различные западные учения, преимущественно радикальных оттенков; начиная с XVIII в., мы пере-

бывали на выучке у многих учителей: у Руссо и Вольтера, Ад. Смита и Бентама, Фурье и Л. Блана, Лассала и Маркса, Канта и Гегеля, Конта и Спенсера, Когена и Гуссерля и т.д., и за последнее время особенно крепко запутались в сетях немецкого "школьного учителя". Но дело в том, что все эти "измы" воспринимались у нас совсем иначе, чем в местах их возникновения, ибо там они зарождались на ином историческом и психологическом фоне, или — как некоторая реакция торжествующему мещанству, или же нередко как вариант того же самого самочувствия. У нас же они окрашивались совсем противоположным самооушущением, кочевническим стремлением к отрыву от места, сходство русского перевода с оригиналом было тонко отмечено Достоевским, который усмотрел русские, славянофильские даже черты в антилизме Белинского<sup>40\*</sup>. Последний воспринял из западной мысли самые крайние социалистические теории, целиком отрицающие реальный исторический Запад, но именно этим-то отрицанием, по мнению Достоевского, он и оказывается в рядах славянофильства. Еще в большей степени можно было бы то же самое сказать про Бакунина и вообще про все левое крыло нашей интеллигентии. Психологически это есть отрицательное и бессознательное славянофильство, хотя и навыворот, скрывающееся, однако, под доктринальным западничеством. Поэтому под минимореалистическим обличьем здесь пылает та же страстная, воспаленная вера в эмпирически не существующий, но умопостижимый отдаленный и бессознательный град Китеж<sup>41\*</sup>, хотя и под другим наименованием. Само собою разумеется, что действительный Запад, как бы он ни был хороши, не мог бы оправдать такой веры и удовлетворить такие надежды; на почве же этой недолжной веры, сотворившей себе,град, своего рода невидимый град Китеж, хотя и под другим наименованием. Само собою разумеется, что действительный Запад, как бы он ни был хороши, не мог бы оправдать такую веру и удовлетворить землей обетованной. Разумеется, по мере того как Россия цивилизуется вместе Бога, кумир, возникало и бурное разочарование, и страстное его осуждение. Запад становился для такого верующего западника некоторым абсолютным фактом высшей действительности, некоей Меккой, такие надежды; на почве же этой недолжной веры, сотворившей себе,град, своего рода невидимый град Китеж, хотя и под другим наименованием. Само собою разумеется, что действительный Запад, как бы он ни был хороши, не мог бы оправдать такую веру и удовлетворить землей обетованной. Разумеется, по мере того как Россия цивилизуется вместе Бога, кумир, возникало и бурное разочарование, и страстное его осуждение. Запад становился для такого верующего западника некоторым абсолютным фактом высшей действительности, некоей Меккой,

великого писателя с глубоко русской душой, этого гениального ясновидца и обличителя европейского мещанства. "Душевная драма Герцена"<sup>1</sup> более или менее общезвестна. Герцен вырвался за границу даже не как в "страну святых чудес"<sup>43\*</sup>, но прямо как в Эдем. Конечно, когда он увидел его действительныйлик, на котором так глубоко отпечатился атог лоси, самочувствие мещанства, он испытал глубочайшее, трагическое разочарование, и впоследствии он никогда уже не мог простить Западу его мещанства и примириться с ним. Вернее, он не мог простить самому себе своей наивной веры. В предзакатной своей элегии "Начала и концы" Герцен изливает свое отчаяние и неверие в европейский мир, "идущий в мещанство", причем "авантгард его уже пришел. Мещанство — идеал, к которому стремится, подымается Европа со всех точек лна" ... "Мир этот не боек на словах и не речист, несмотря на то что он создал великий рычаг, стоящий рядом с паром и электричеством, рычаг афиши, объявлений, реклам... Да, любезный друг, пора прийти к покойному и смиренному сознанию, что мещанство окончательная форма западной цивилизации, ее совершенномилетие; им замыкается длинный ряд его сновидений, оканчиваются эпопея роста, роман юности — все, вносящее столько поэзии и бел в жизнь народов. После всех мечтаний и стремлений оно предоставляет людям скромный покой, менее тревожную жизнь и посильное доволльство, не запертые ни для кого, хотя и недостаточное для большинства. Народы западные выработали тяжким трудом своим зимние квартгиры... Западный мир стал отставаться, уравновешиваться, все, что ему мешало, утягивалось мало-помалу в тяжелейшие волны, как наскокомые, захваченные смолой янтаря... Личности стирались, родовой типизм слаживал все резко индивидуальное, беспокойное, эксцентрическое. Люди, как товар, становились чем-то гуртовым, оптовым, дюжинным, дешевле, плосче врозь, но многочисленнее и сильнее в массе" ... История Герцена типична, ибо его драму переживают многие русские в соответствующий духовный возраст — я мог бы сослаться здесь и на свидетельство собственного опыта: в пору тяжелого, герценовского раздумья и разочарования, впервые пришло мне в столице Германии узнать запретного тогда Герцена, и его гневные, горькие и разочарованные строки читались мной как признания и волни собственного сердца, его боли и жалобы. Герцен и все мы, герценствующие, конечно, несправедливы к Западу, потому что виним его в том, в чем должны были винить себя самих. Отвернувшись от Божьего храма, мы стали в своих мечтах превращать в этот храм западную Европу, и обиделись, когда увидели вней и благоустроенное торжество, рационально поставленную фабрику, образцово-биражу, отличный университет. Однако, кроме ошибки религиозного суждения, здесь сказывается и права непримиримость к чрезмерности мещанства, которая удивительно сильна в русской душе

<sup>1</sup> Ср. наш очерк под этим заглавием (в сб. "От марксизма к идеализму" и в отдельном издании. Киев, 1905)<sup>42</sup>.

<sup>2</sup> Сочинения А.И. Герцена, т. X. Женева, 1879, с. 259 и сл.<sup>44</sup>

и объединяет русских людей разных характеров и вер – Бакунина и Толстого, Герцена и Достоевского. Особого упоминания заслуживает здесь наш доселе непонятый и неоцененный писатель, с умом глубоким и печальным, тревожным и разочарованным, трагическим и трезвым. Я разумею, конечно, К. Леонтьева. Он никогда не имел по отношению к Западу положительного, герценовского эроса, но он обнаруживает к нему такой страстный анти-эрот, какую бурную ненависть и презрение, что эта страсть делает его по-своему тоже ясновидящим. Через гро-теск и ионгта даже буффонаду звучит безмерная серьезность и проникновенность. И поразительно, что религиозный и политический мантика-эстета, говорит о "среднем европеизме" то самое, что и Герцен, и русский ультраконсерватор ссылается на русского революционера. К. Леонтьев так говорит о Герцене: "Герцену, как гениальному эстету 40-х годов, претил прежде всего самый образ этой средней европейской фигуры в цилиндре и сюртучной паре, мелкодостойной, трудолюбивой, самодовольной, по-своему, пожалуй, и стоической, и во многих случаях несомненно честной, но и в груди носящей другого идеала, кроме претворения всех и вся в нечто себе подобное, и с виду даже неслыханно прозаического, еще со времен каменного периода. Герцен был настолько смел и благороден, что этой своей аристократической брезгливости не скрывал. И за это ему честь и слава... Как скоро Герцен увидел, что сам рабочий французский, которого он сначала жалел и на которого так надеялся, ничего большего не желает, как стать поскорее самому мелким буржуа, что в душе этого рабочего загадочного нет уж ровно ничего и что в представлениях нет ничего оригинального и действи-тельно нового, так Герцен остыл к рабочему и отвернулся от него, как и от всей Европы, и стал верить после этого больше в Россию и ее оригинальное, не европейское и не буржуазное будущее". "Образ будущего мелко учченого, поверхностно мыслящего и трудового человечества был бы вовсе не прекрасен и не достоин! Да и то еще вопрос: будет ли счастливо подобное человечество? Не будет ли оно нестер-пимо тосковать и скучать! Нет, я вправе презирать такое бледное и недостойное человечество, без пороков, но и без добродетелей, и не хочу ни шагу сделать для подобного прогресса... И даже больше, если у меня нет власти, я буду страстно мечтать о поругании идеала всебогого равенства и всеобщего безумного движения; я буду разрушать такой порядок, если власть имею, ибо я слишком люблю че-ловечество, чтобы желать ему такую спокойную, быть может, но пошлую и унизительную будущность"<sup>13</sup>.

Всемирная война, помимо всех своих неисчислимых последствий, означает новый и великий этап в истории русского самосознания, имен-но в духовном освобождении русского духа от западнического идолопоклонства, величайшее крушение кумиров, новую и великую свободу.

Общий смысл совершившегося уже в этом отношении можно формулировать так: западничество реалистично-утопическое и идолопоклонническое должно уступить свое место западничеству реально-историческому, а это значит, что должно совершиться духовное возвращение на родину, к родным святыням, к русской скрини и ковчегу завета.

Война, прежде всего, знаменует великое освобождение от кошмара идолопоклонства. И, конечно, на первом месте по значению следует отсутствие культуры духа, явленным этимвойной. И это воинное сближение наше с Европой, с врагами и союзниками, само собой освобождает нас от этого детского обожания и заставляет перейти в другой возраст. Как бы ни старались мы смягчить или подсластить горькую истину, что война эта есть некоторое банкротство всей новоевропейской цивилизации, ее обличение и суд над новой историей. И тот, кто с новоевропейской цивилизацией связывал свои упования и циности, была ли то немецкая философия или немецкий социализм, или европейская наука и т.п., должен теперь испытывать не только величайшее потрясение, но и спасительный духовный кризис, как это с особенной ясностью ощущалось в начале войны и это по существу никакого не изменилось и теперь, даже если и притупилась эта боль. Нечто бесповоротно провалилось и осуждено историей, и то, что вчера только можно было исповедовать с видимостью истины и с полной искренностью поддерживать, теперь становится идейным оппортунизмом, малодушием, полновинчальством или исторической тупостью. "Варварская" России спасает Европу от нее самой, и, конечно, не военным превосходством, но побеждающей духовной мощью русского народа. Вновь исполняются заметные видения славянофилов, торжествующевшие в воинстве и всем русского народа, ибо ведь в этой войне войско есть народ. Вновь исполняются заметные видения славянофилов, торжествующие в воинстве и всем русского народа, ибо ведь в этой войне войско есть народ. Вновь исполняются заметные видения славянофилов, торжествующие в воинстве и всем русского народа, ибо ведь в этой войне войско есть народ. Вновь исполняются заметные видения славянофилов, торжествующие в воинстве и всем русского народа, ибо ведь в этой войне войско есть народ.

Нечто бесповоротно провалилось и осуждено историей, и то, что вчера только можно было исповедовать с видимостью истины и с полной искренностью поддерживать, теперь становится идейным оппортунизмом, малодушием, полновинчальством или исторической тупостью. "Варварская" России спасает Европу от нее самой, и, конечно, не военным превосходством, но побеждающей духовной мощью русского народа. Вновь исполняются заметные видения славянофилов, торжествующие в воинстве и всем русского народа, ибо ведь в этой войне войско есть народ. Вновь исполняются заметные видения славянофилов, торжествующие в воинстве и всем русского народа, ибо ведь в этой войне войско есть народ. Вновь исполняются заметные видения славянофилов, торжествующие в воинстве и всем русского народа, ибо ведь в этой войне войско есть народ.

Фактом, становится ясно, что к нему вела неумолимая логика истории, а не частная злая воля, и зачата была эта война не теперь, но уже на заре новоевропеизма, как борьба за мощь, за богатство, за земли. Не к миру и благополучию, не "к наибольшему счастью наибольшего числа людей"<sup>15</sup>, стягивала свои силы, ковала свои мечи Европа, но готовившая к этой неслыханной катастрофе. Все, что угодно: всеобщая социальная революция, земной рай, осуществленный силами науки, всеобщий правовой союз государств, – все, только не это безжалостное взаимоистребление по последнему слову науки, не "толстая Берта", "человекоданы" и дредноуты<sup>16</sup> рисовались нашему западничеству в распален-

<sup>4</sup> Ср. наши очерки: "Русские думы" ("Русская мысль", 1914, XII) и "Поверженный ку-мир" ("Утро России", 1914, 30 авг.).

ных мечтах его, да и самим европейцам, чрезмерно поверившим в силу своей цивилизации и переставшим замечать всю ее ограниченность и условность. Во что же остается верить тому, кто верил в единую спасающую силу новоевропейской цивилизации? Экономика пылает. Социалистические рати, на которые опирались улования многих, распались и переплавились в лептоны, борющиеся на полях сражения уже не за государство будущего, но за свою родину, и не от имени своего класса, но во имя отечества. Конечно, природный консерватизм мысли еще удерживает иногда старую фразеологию и привычные, угтрамбованные временем, ходы мысли еще долго после того, как уже истекла или стерела самая мысль. Конечно, возможно и теперь спасаться от неприятных выводов бегством в будущее и ссынова повторять прежние посулы, осмеянные современностью, относя их уже к завтрашнему, но послезавтрашнему дню. Нечто подобное и теперь происходит в нашем обществе: одни спасают таким образом свой европеизм, другие – свой социализм. Но не ясно ли, что и социализм, законное детище мещанской цивилизации или новоевропеизма, возможен был в прежнем виде только до испытаний войны, т.е. в отошедшую уже историческую эпоху. Нельзя повторять без критики и нового оправдания ни одного из старых улований, все подлежит пересмотру, проверке, скептизу, обя-зателен всеобщий духовный ревизионизм, и является повинным в реакционности и косности мысли тот, кто пытается пробаляться прежними лозунгами тогда, когда все они уже устарели. Необходима новая духовная ориентировка. Та плоскостная, мещанская ориентировка, которой опиралась на веру в спасительность науки и техники, на всесилие правового государства и международного права, в непрерывный рост производительных сил, должна быть заменена или, точнее, восполнена, осложнена ориентировкой глубинной, внутренней, религиозной. Ибо, если застигает буря в открытом море и изменяют привычные инструменты, надо идти по звездам, и когда безмолвствует привычный оракул времени, нужно вступать в него вновь, восполнив, осложненна ориентировкой глубинной, внутренней, религиозной. Ибо, если застигает буря в открытом море и изменяют привычные инструменты, надо идти по звездам, и когда

европеизма, катастрофа цивилизации, уашение светочей, для славяно-филов же в ней таится, быть может, начало духовного возрождения Европы, освобождение из оков, обличие лжи. Роли переменились: те, кто отрицали западничества и опушили себя славянофилами, теперь гораздо более чувствуют себя европейцами относительно освобождающейся от бремени мещанства Европы, чем те, кто считали себя западниками и ныне стоят недоуменно перед фактом крушения их кумира. К чему лукавить: ведь кумиром-то этим в последнее время была, а для наиболее верных и фанатичных и поныне остается – Германия, и притом не Германия Гёте и Шиллера, Баха и Бетховена, но именно новейшая гипернаучная Германия, страна философского критицизма и всяческой научности, практичности и гоности, эльдорадо социал-демократии и родина марксизма, страна лещевых товаров и благоустроенных магазинов, уютных университетов и превосходных библиотек, религии, в философии, в социализме, в промышленности, в войне. Она превратила человека в ретортного методического томункула, и этим-то гомункулизмом обольстилась, зачаровалась наша кочевническая луша, и мы неумело, но старательно стали натягивать на себя школьную куртку с чужого плеча, поочередно объявляя себя кантиандами, марксистами, идеалистами, монистами, стали онемечиваться каждый на свой манер. Вовсе не так легко духовно извернуть из себя немецкую муштуру и немецкую "прелест". И в настоящее время, вместо того, чтобы в различных и многообразных манифестациях немецкого духа стараться постигнуть их подопечное субстанциальное единство, то древо, корни коего познаются по плодам, каждый старается отделить от него и сохранить для себя ту его ветвь, которая ему особенно полюбезна, противопоставляя ее всему остальному в германстве. Так, марксисты продолжают удерживать свои немецкие схемы, хотя спеша-фически прусский букет учения о захвате власти армией пролетариата уже достаточно обнаружился теперь, когда армия немецкого пролетариата, пока что, упражняется в захвате власти над несчастной Бельгией, или задержанными иностранцами и военноополнеными. Однако те, которым не под силу духовное освобождение, рассуждают так, что немцы – это одно, а сочиненный ими научный социализм – другое. Совершенно подобное же происходит и с приверженцами философских изделий, порожденных из недр немецкого духа. Вообще все, кто не хочет братъ вопроса по существу, в каком-то отвлеченному "германизме" нашли всеобщего козла отпущения, чтобы взвалить на него все неприятные выводы происходящих событий, в то же время удерживая дух этого германства. И получается своеобразная картина, что, ради стремления сохранить старые эволюционные позиции, во имя гуманности и прогресса, владают уже в чисто зоологическую вражду к расе, вносят начало чисто этнографической розни. Против этого следует со всему энергией указать, что германизм, как начало этническое или

расовое, есть великая историческая сила, и отрицать гений германства было бы не только неблагородно и недостойно русского духа, но и просто неумно. И не значило ли бы это отрицать Баха, Бетховена, Дюпера, Шиллера, Гете, Шеллинга, Вагнера и других? Вопрос о духовном кризисе европейской цивилизации, в которой первое и самое печальное место принадлежит германству, отнюдь не может быть разрешаем простой ссылкой на "германизм" как факт биологический. Надо спрашивать себя, каковы же те духовные силы, которые так извратили германский гений? где тот яд, которым отравлен германизм, а за ним и с ним, хотя и в слабейшей степени, и вся новая Европа? А если поставить эти неприятные и тревожные для ленивой мысли вопросы, то станет ясно, что "германизм" не есть только неизменное напряженное и сильное выражение германской болезни, в нем дано наиболее слабейшей степени, и вся новая Европа? А не дух новоевропецизма, конечно, обостренное и осложненное национальными чертами германства. Поэтому самоубийство и лицемерием звучат успокоительные голоса, уверяющие, что в духовном мире все остается на месте, и провалился только германизм; что Европа отлично обойдется и без него, а потому не требуется всеобщей переоценки ценностей и можно западничать на старый манер, довольствуясь Европой минус Германия. Нет, мир погрызен в духовных основах своих, ничто не осталось на месте и никто не ушел от землетрясения: нынешний novissima, vigilemus!<sup>47\*</sup>

Пугало германизма становится средством защиты и для пацифистов, которые во что бы то ни стало стараются спасти традиционный эволюционизм с его перспективами безостановочного мирного прогресса. Они тоже говорят, что теперешняя война создана Германией как очагом европейского милитаризма; достаточно раздавить змеиное гнездо, чтобы мечи были, наконец, перекованы в орала. Конечно, и для нас очевидна печальная и роковая роль Германии в развитии милитаризма, ужасен дух ее юнкерства и военщины, своей жестокостью и бездушностью она оказалась более всех народов приспособлена для роли "бронированного кулака". Но эта пристосованность имеет значение лишь обострившегося момента. Основы теперешней мировой войны заложены в мещанской цивилизации, которая опирается на международное капиталистическое соперничество: последнее в экономической народной капиталистической форме, как система открытыми мысли впервые осознала себя еще в меркантилизме, как систему откровенного национального эгоизма. И принимая капиталистическую цивилизацию, нельзя отмахнуться от ее меркантилизма, не только теоретического, но и практического, каковым и является теперешняя война.

Поэтому нечего наивничать, полагая, что при отсутствии воинственного германизма можно было бы избежать мировой капиталистической войны. Причины здесь глубже и, так сказать, духовные: тот *genius loci*<sup>48\*</sup>, который водитесь с новоевропейской цивилизацией, отнюдь не есть гений мира, ему дано не установить мир, а скорее, наоборот, взять его от земли, разжечь соперничество, ибо он есть гений не единения, но обособления. А поэтому надежда на "вечный мир" после падения германизма должна во всяком случае обосновываться глубже,

чтобы не произошло впечатление какой-то мечтательности и детской беспечности. Все эти попытки удержать старые позиции без всякого изменения по существу безнадежны, ибо мы катастрофически вступаем в новый период истории.

Два противоречивых чувства неизменно присутствуют в нашем самосознании, в своей антиомической дисгармонии составляя некий чудесноозвученный аккорд: чувство места и привязанности к миру, на котором зиждется идея эволюционного прогресса, и чувство конца, катастрофического отрыва и разрушения. Не можем и не должны мы, дети земли, отрываться от лона матери и отрекаться от мира, но и не можем и не должны мы до конца ему верить, хотя бы уже потому, что у каждого из нас за плечами стоит ангел смерти, и в любую минуту жизни может для нас перейти этот мир и окончиться время. Потому и уверяет нас вспомогательная мысль: "и *бам* скажено. братия: время увещевает всех верующих апостол: "и *бам* скажено. братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сию, как не питающие, как не приобретающие" (1 Кор. 7, 29–31).

Внутренняя трудность отношений с Западом для нас в том и состояла, что Запад чрезсур крепко уверовал в этот мир, выразив собой одну сторону антиомии жизни, мы же, если в чем и грехиши до сих пор, то скорее в обратном направлении. И теперь, когда в спасительном огне войны спадает мещанская чешуя Запада и обнажается бесмертный человеческий дух, Европа становится неизмеримо ближе к нам, нежели когда-либо, в частности, нежели и тогда, когда мы обезьяннически перенимали ее цивилизацию и во имя ее малодушно отрекались от своей собственной духовной стихии. Воистину теперешняя Европа, трагическая и героическая, истерзанная и залията кровью, смятенная и разоряемая, духовно богаче, чище и выше, нежели то срединное царство, от которого так содрогался Герцен и Константин Леонтьев и готов был бежать, куда глаза глядят, Гюй Морассан. Мы ясно чувствуем, что с этой братской Европой мы имеем общую духовную судьбу. Только теперь впервые наступает время для нашего сознательного и свободного самоопределения в отношении к Европе. И надломленная Европа пред лицом этой войны, когда смиренные русского воина духовно оказывается сильнее европейской цивилизации, должна отказатьсь от своего презрения к "варварской" ванности, должна отказатьься от своего презрения к "варварской" России, от своего горделивого незнания ее, от органического непонимания русского духа, которое всего гибельнее будет для самой же Европы. Для России же отходит, наконец, в прошлое историческая пора ученичества, вместе с трехами этого ученичества. О, и теперь, может быть, большие чем когда-либо нам надо учиться у Европы, "чтоб в просвещении стать с веком наравне"<sup>49\*</sup>, но должен быть положен конец той духовной измене своему отечеству, которая совершилась в душах этих европейских выучеников, когда жрецы иноzemной величиии своим ученикам в жалких душах учеников старого, фонвизинского облика матери. Довольно с нас западников старого,

еястества<sup>50\*</sup>, хотя и нового покрова. Когда Израиль вошел в Обетованную Землю, ему под страхом смерти запрещено было вступать в брак с дочерью более цивилизованных, но обзывающихся хананейских племен и отвращать свое сердце от Иеговы, делая его уделом Баала<sup>51\*</sup>. И не та же ли опасность подстерегала и нас! В семье европейских народов мы, бесспорно, являемся юнейшим братом, но юность есть сила, и ей принадлежит будущее. Всей глубиной существа своего, всей силой веры сноси, всем помышлением своим должны мы прежде всего ощутить одно: *мы есмь*, мы имеем свою собственную плоть и кровь, мы имеем свое духовное лицо. Нас Бог помыслил как некую самобытную сущность, и этот умопостигаемый образ мы призваны осуществить в земном подобии. *Мы должны стать самими собою*, должны осуществить себя самих – вот долг нашей жизни, историческая задача нашего национального бытия, которая именно на нас наложена, в которой никто не может нас заменить, ибо это есть дело нашей мысли, сердца и воли, всего нашего духовного существа. Мы никому не можем передать свою духовную индивидуальность. Она есть та творческая задача в мире, во имя которой вызваны мы из небытия. Россия должна явить миру святую Русь, ибо последняя необходима для мира и судеб человеческих. Иметь индивидуальность есть не только право, но и обязанность, есть не только мощь, но и ответственность, ибо каждый должен дать отчет перед Богом за свой именно талант: каждому народу и даже каждому индивидуу в известной мере вверяются судьбы мира, в той его точке, которая соответствует его бытийному центру, его творческой личности.

Когда говорят о национальном избрании и предназначении, то у многих возникают законные опасения кичливого и духовно-убого самопревознесения и самодовольства; такая исключительная и чрезмерная привязанность к своему духовному мастеру в мире, соединенная со слепотой ко всему остальному, таит в себе опасность своеобразного духовного мешанства, и, чтобы ей не подвергнуться, надо помнить, на какой именно черте подстерегает эта опасность, откуда начинается этот уклон. По слову Плотина, душа есть Афродита<sup>52\*</sup>, ее женственность восплеменяется и исполняется силой зачинательный дух. Нельзя познать душу своего народа, не полюбив ее, ибо познавать можно только любовью, лишь ей открывается видение умных сущностей. И вот почему, сколько бы ни издавались поверхностные умы, тысячу раз прав поэт, свидетельствующий о своем ясновидении любви:

Не поймет и не заметит  
Гордый взор иноплеменный,  
что сквозит и тайно светит  
В наготе твоей смиренной<sup>53\*</sup>,

ибо этот взор затемнен недоброволью и потому требует внешних знаний и доказательств. Эросу национальности открывается эта духовная сущность, и отсюда рождается национальное творчество, как духовная любовь, как рыцарское служение, как верность обрученного. Но, как

хорошо было ведомо грекам же, и эрос бывает разный, и есть две Афродиты, небесная и всенародная<sup>54\*</sup>. Эрос может получить и чувственный характер, а будущи направлен на недостойный объект, он спленил относительно истинной своей задачи и тогда становится бездушным, эгоистичным; такое изращение национального чувства мы наблюдаем теперь на своеобразном вырождении германского национального эроса, но его опасность всегда подстерегает всех. Ярче всего эту двойственность национального эроса и его противоречивость наблюдает моя на истории избранного народа Божия, которым был заключен завет с Богом и с которым, по его ворованию, обиграла Шехина – слава Божия<sup>55\*</sup>. В его душе всегда, во все века его бытия, боролось высокое его призвание с темным еврейским национализмом, и эта борьба раскрывается уже в пророческих писаниях. И эта же опасность, конечно, существует и для народа русского. И, прежде всего, избраный народ – а ведь всякий исторический народ на что-нибудь избран – должен чувствовать свое недостоинство, сознавать свою духовную ништу, ибо то, ради чего он избран, бесконечно превышает его немецкую, достигнутую данность. Именно этот "пафос расстояния"<sup>56\*</sup> звучит в словах поэта: "О, недостойная избранья, ты избрана!"<sup>57\*</sup>. Надо любить в своем народе, как и в себе самом, не себя, но свое призвание. России по преимуществу вверены исторические судьбы Православия, от которого должен изойти свет миру, но это не значит, что Россия уже есть воистину православная страна, "святая Русь", хотя последняя всегда незримо и умопостигаемо таится в ней. А потому самодовольно наличной данностью да будет далеко от нас! И в национальности своей, которой, вместе с другими связями сердца, привязывает нас к Земле, к Мести, должны мы себя чувствовать странниками и пришельцами, всегда находиться в пути, забывая "заднее", устремляясь вперед. В национальном самосознании должен быть рыцарский пафос, воспламеняющий вицением, "непостижимым уму"<sup>58\*</sup>. Прекрасной Дамой, ради которой рыцарь свершает свои подвиги, но горе ему, если он примет за нее дородную Дулычиною, что случилось теперь с Германией, и горе ему, если он, вместо ее защиты до последней крови, обратится в бегство или отдастся в плен, как это случилось с нашим западничеством. Национальность есть высшая ценность, но не последняя: она необходимо лежит на пути к вселенскому самосознанию, но не должна от него отвергать и преграждать к нему дорогу. Бог сдвигает с места светильник, если служители его недостойны, и это звучит вечной угрозой и вечной ответственностью. Ибо избрание дает силу, но не насилияет, и законом жизни и творчества и здесь остается свобода.

Мир ждет русского слова, русского творчества, порыва и вдохновения. Мир должна быть явлена мощь русского духа, его религиозная глубина: Царство "третьего Рима"<sup>59\*</sup> – новой Византии, которая заступила в историю духовное место Византии павшей и ныне готовится торжественно вступить в ее столицу, в царственный град Константина, должно явить нововизантийскую руско-православную культуру христианского востока. Тогда свершится полнота западно-восточного мира,

сомкнется круг исторической цепи. Наступает историческая череда России, от нее зависит будущее, не для нее только, но и для всего мира. Ибо ныне окончательно наступила эпоха мировой истории, когда все, что имеет свершаться, свершается для всех народов, для всего мира — пора местных обособлений уже миновала. И эта война проливаемой кровью спасает Европу в нерасторжимое единство, ибо нет исторической силы, которая бы более сближала народы, нежели война. Европа есть центр мира, то, что совершается в Европе, совершаются и во всем мире. Надвигается историческая жатва, пора зрелости, предвестие конца. В русской душе всегда жила скорбь за всех, печалование о судьбах всего мира, вселенское самосознание. И этому вселенскому самосознанию соответствует, что надвигающаяся эпоха истории, в которой по многим признакам определяющая роль будет принадлежать славянству, а прежде всего России, совпадает с этим мировым масштабом истории. Это предчувствие вселенского исторического служения сопряжено и с другим историческим предчувствием, которое не менее глубоко искони веков залегло в русской душе, — чувством конца, нашим русским апокалипсисом. Человеку не дано ведать времена и сроки, которые положил Отец Небесный, но по смоковнице, ветви которой становятся мягки и пускают листья свои, можем мы заключить, что близко это и надвигается пора исторических свершений. Конвульсивно ускоряется ход истории и, если только вообще есть конец, то ясно, что мир мчится к этому гениальному, страшному и светозарному концу своего теперешнего эона<sup>60</sup>. Здесь мы опять сталкиваемся лицом к лицу с идеей эволюционного прогресса, в который вчера только верили повсеместно и для которого принципиально не существует идеи конца. Но именно потому для него нет и идей Будущего, если все дано уже в настоящем и господствует одна лишь непрерывная его эволюция. Для имекоющих уши слышать давно уже предчувствующих, и ныне сильнее, чем прежде, приближение Будущего, как совершенно новой эры в истории человечества, таящей в себе предварения мировых свершений. Хотя на короткий срок, но должна быть преодолена всеобщая секуляризация жизни с ее неорганичностью и явлена универсальная теократия, "тысячелетнее царство" святых на земле. Ее-то, сознательно или бессознательно, но трепетно жаждет русское сердце, по цельной, нераздробленной жизни он тоскует. И в решительную минуту истории, в конечный, а потому самый зрелый ее час, последний раз столкнутся два чувства жизни, две пары, две любви: амог loci, с его эволюцией и бездушностью, и чайне новой земли и нового неба<sup>61</sup>, окончательного преображения мира и твари, жизни будущего века. Изначальная и вековая античность, живущая в человеческом сердце, сознается и определился, как столкновение двух царств, двух миров, двух воль: царства от мира сего во главе с тем, кто придет во имя свое, и царство не от мира, имеющее ческое сознание этой антиномии, и мировая война будет в душе ее неумолчную боль с новой силой и принудительно придвигает к этим

вопросам. В крови мучеников, проливаемой ныне на полях европейского мира, истлевает грех европейского соблазна и тем самым зарождается духовно человек Булатности. Пред этим кошмарным ужасом, для которого бессильно слово, пред этим исступлением человеческим, кто же не содрогается и не трепещет в сердце своем, ибо, воистину, "страшно власть в руки Бога живого"<sup>62</sup>. Но, вместе с тем, что же имеет теперь значение, более творческое, культурное, историческое, апокалиптическое, нежели эта война, которую гений народный, верно чувствуя в ней трагическое освечение человечества, уже назвал священной? Какими же словами сумеем мы воззвать славу, какой благодарностью можем мы возблагодарить наше воинство, которое тихим светом своего величия явило нам и всему миру сокровища русской души, ее простоту, чистоту и веру, которое дало нам еще раз опознать себя в путях истории, подтвердило и удостоверило правду поэтического прозрения, "о, недостойная избранья! ты избрана!" Русское воинство величием своего духа спасает и освобождает мир от преждевременной угрозы антихриста плена. Но не является ли это указанием, что и иное служение миру ждется от России, иной подвиг — не битвы, но спасающей любви и веры. Воинство ратное зовет на смену себе воинство духовное. Гряди же, гряди, святая Русь!

комства Достоевского с сочинениями Канта, но они, тем не менее, связывают о его уважительном отношении к философу.

А.В. Гульга вспел за Н. Вильмонтом считает, что идеи Канта могли приходить к Достоевскому "обходным путем через Шиллера, которым он восхищался" (указ. соч., с. 288).

Проблема же соотношения мировоззрений Достоевского и Канта решается Я.Э. Голосовкером и А.В. Гульгой диаметрально противоположным образом. По Голосовкеру, "Кант..." предстал перед Достоевским как главный противник" (Голосовкер Я.Э. Достоевский и Кант, с. 96). А.В. Гульга полагает непреложным факт, что "Кант и Достоевский – единомышленники" (указ. соч., с. 288). При этом он считает, что "они склонились в главном – в концепции свободной личности" (там же).

Едва ли Я.Э. Голосовкер согласился бы с последним утверждением. С точки зрения религиозного сознания, "главное" для Достоевского и Канта – "не концепция свободной личности", а проблема Бога: "Признавал ли хоть один философ Бога?" – так сформулирует ее Л.И. Шестов (см. также его интересные рассуждения о религиозности И. Канта: "Власть ключей", Берлин, 1923, с. 60–64).

Проблема "Достоевский – Кант" нуждается в дальнейшем исследовании, и в этой связи следует обратить внимание на то, что наблюдение С.Н. Булгакова позволяет, более того – требует включить в поле зрения исследователя, занимающегося этой проблемой, роман "Бесы" (который упоминают из виду Я.Э. Голосовкер и А.В. Гульга – первый вполне сознательно, так как круг его размышлений заранее ограничен, второй – неизвестно по какой причине: см. его Указ. соч., с. 124). "Антиномическая природа сознания", "концепция свободной личности" и проблема "Бог и Мир" поставлена здесь Достоевским не менее остры, чем в "Братьях Карамазовых". Может быть, здесь и будет найден ключ к решению проблемы "Достоевский – Кант".

67\* *Достоевский Ф.М. Поли собр. соч. Л., 1974, т. 11, с. 183–184.*  
... "Всемирная история, – писал Гегель, – есть выражение божественного, абсолютного процесса духа в его высших образах, она есть выражение того ряда ступеней, благодаря которому он, осуществив свою истину, доходит до самосознания" (Гегель. Философия истории // Соч. М.; Л., 1936, т. VIII, с. 51).

Ср. со словами Н.М. Карамзина из Предисловия к "Истории государства Российского": "История в некотором смысле есть священная книга народов: главами, необходиши: зерцала их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего" (Цит. по: Эйдельман Н.Я. Последний летописец. М., 1983, с. 164).

68\* Особая форма причудливого миража, при котором отдаленные предметы видны многоократно и разнообразными "искажениями". "Гата тогдана" – называние повести украинского писателя М.М. Коцюбинского (1-я часть была издана в 1904 г., вторая – в 1910).

70\* То есть самоотравление. Термин принадлежит И.И. Мечникову (1845–1916), на которого чуть ниже и ссылается С.Н. Булгаков.

Мечников считал естественную смерть "краине редкой у человека", "гораздо вероятнее", – писал он, – что практика ее – самоотравление организма" (Мечников И.И. Этюды оптимизма. М., 1987, с. 108).

В качестве средства борьбы с самоотравлением он предлагал вводить в

организм "Антитоксические сыворотки" и др. антитоксины (там же, с. 140 и сл.).

71\* Отк. 22, 20.

72\* Многочисленные проявления этого мироощущения описаны С. Князьевым в его книге "Очерки из истории Петра Великого и его времени" (М., 1990, с. 51–536; очерк "Старообрядчество во времена Петра Великого").

73\* Цитируется письмо к Е.В. Розановой (в замужестве Селевиной) от 2 авг. 1873 г. (Письма В.С. Соловьева. СПб., 1909, т. III, с. 87). Соловьев В.С. "Неподвижно лишь солнце любви...". Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания современников. М., 1990, с. 173).

74\* Изида – древнеегипетская богиня плодородия, которой приписывалось изобретение различных магических формул и тайнознания. Под "покрывалом Изиды" хранилась "последняя тайна".

75\* Понятие "розового христианства" принадлежит К.Н. Леонтьеву и употреблено им применительно к Л. Толстому и Ф.М. Достоевскому в прелестовни к брошюре «Наши новые христиане. Ф.М. Достоевский и гр. Лев Толстой. По поводу речи Достоевского на празднике Пушкина и повести гр. Толстого "Чем люди живы?"», №, 1882.

76\* Букв.: длинные kostlye пальцы; здесь: размашистые закорючки (фр.).

77\* Соловьев В.С. Письма. Гг., 1923, т. IV, с. 11–12.

### ВОЙНА И РУССКОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Печатается по тексту: Сергей Булгаков. Война и русское самосознание. (Публичная лекция). М., Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1915 (Серия "Война и культура").

1\* Мысль о том, что человечество "устроится без Бога" на земле, притом вполне и окончательно, неоднократно высказывает тот или иной из персонажей Ф.М. Достоевского. В романе "Братья Карамазовы", например, эту идею провозглашает Иван Карамазов (Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. Л., 1976, т. 15, с. 83). См. также: Курдюченко Ю.Г. Три круга Достоевского (Событийное. Социальное. Философское). М., 1979, с. 94.

2\* Где хорошо, там и родина (лат.) – выражение римского tragedika Пакуния, которое цитирует Цицерон в "Тускуланских беседах" (V, 37).

4\* Пятдесятница – пятидесятый день после Пасхи (воскресения Иисуса Христа), в который апостолы в результате сошествия на них Св. Духа получили пророческий дар для проповеди христианства. См.: Деян. 2, 1–13.

5\* Цельс (II в.) – философ-эзектик, автор сочинения "Правдивое слово", направленного против христианства, сочинение Цельса как самостоятельное литературное произведение не сохранилось. Почти вся книга Цельса приводится в цитатах и перифразах в сочинении Оригена "Против Цельса". Сохранившийся текст трактата Цельса см. в кн.: Рыжиков А.Б. Первоисточник по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М., 1990, с. 270–331.

6\* Вероятно, контаминация двух сангельских цитат: "Встань и ходи" (Мф. 9, 5) и "иди за мяю" (Ил. 1, 43).

7\* Выражение ап. Павла: "Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего" (Ин. 13, 14).

8\* Заратустра у Ницше говорит: "Я зажинаю вас, братья мои, остыдитесь верны земле..." "Оставайтесь верны земле, братья мои, со всей властью вашей добродетели!" (Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990, т. 2, с. 8, 55).

Тому же учит и старец Зосима у Достоевского: "Люби повергаться на землю и любоваться ею. Землю целую и неусыпанно, ненасытно люби, всех люби, ищи восторга и исступления сего" (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. СПб., 1895, т. 12, с. 383; "Братья Карамазовы", кн. 6, гл. 3, 31).

У Достоевского и Ницше в данном случае общий источник – "Элевинский праздник" Ф. Шиллера:

Чтоб из низости душико  
Мог подняться человек,  
С древней Матерью-землею  
Он вступил в союз навек...

(Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. М., 1955, т. 1, с. 296).

9\* Мф. 6, 21; Лк. 12, 34; цит. неточно.

10\* Из русских философов особенно «уявлены "любовько к Софии"» были В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, А. Белый, Л.П. Каравин и сам С.Н. Булгаков. В немецкой философии "софиологами" (точнее, идейными вдохновителями русских софийотов) были Якоб Бёме, Новалис и др. Подробнее см. в статье А.П. Козырева "Софиология" в словаре "Русская философия" М., 1995, с. 465–469.

11\* Сначала жить, а затем философствовать (лат.).

12\* Коген Герман (1842–1918) – нем. философ, глава Марбургской школы неокантианства.

13\* Знать – значит предвидеть (фр.) – парафраз известного изречения О. Канта: "Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы избегать".

14\* Что внутри, то и снаружи (нем.) – цитата из "Эппрены" Гёте:

Мирозданье постигай

Все познай, не отбирай;

Что – внутри, во внешнем смыше;

Что – во мне, внутри отыщешь.

(Цит. по: Конради К.О. Гёте. Жизнь и творчество. М., 1987, т. 2, с. 489–490; пер. Н. Вильмонтса).

15\* Наиболее резкий выпад против "научности" содержится в "Свете невечернем" Булгакова: «...Я был, как в тисках, в плена у "научности", этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентской черни, полуобразованной толпы, для пурпака! Как ненавижу я тебя, исчадие полуобразования, духовная чума наших дней, заражающая юношей и детей!» (Булгаков С.Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. М., 1994, с. 13).

16\* Трад. Божий (лат.) – название трактата Августина "О граде Едином", восходящее к словам ап. Павла (см. выше прим. 7\*).

17\* От греч. secular – светский. В широком смысле слова "секуляризация" означает обмирщение религиозной жизни, в узком – отчуждение церковной собственности в пользу государства.

18\* См. трактат И. Канта "К вечному миру" (1795).

19\* Следует отметить, что Канта "экономика" С.Н. Булгаков пишет в "Философии хо-

зяйства": "В жизни- и мироощущении современного человечества к числу наиболее выдающихся черт принадлежит то, что можно назвать экономизмом нашей эпохи... Наше время понимает, чувствует, переживает мир как хозяйствство, а мощь человечества как богатство преимущественно в экономическом смысле слова. В противоположность добровольному или насильственному аскетизму францисканско-буддийской эпохи, пренебреживших богатство и отрицающих его силу над человеком, наша эпоха любит богатство – не деньги, но именно богатство – и верит в богатство, верит даже больше, чем в человеческую личность. Это не только макромономизм, корыстолюбивый и низкий (он был во все времена, есть и теперь), нет, это – экономизм. Жизнь есть процесс прежде всего

получившая самое крайнее и даже заносчивое выражение в экономическом материализме" (Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М., 1990, с. 7–8).

20\* См. т. I настоящий изд. прим. 1\* к статье "Об экономическом идеале".

21\* Парафраз цитаты из поэмы Вергилия "Энеида" (III, 11): Fuit Troja! – Была Троя, – в смысле: теперь уж не то!

22\* Любовь к судьбе, любовь к року (лат.) – понятие философии стойков, часто используемое Ф. Ницше. См.: Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990, т. 1, с. 624.

23\* Цитата из стихотворения А.С. Пушкина "Пророк" (1826); у Пушкина вместо "открылись" – "ствердились" (Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1981, т. 2, с. 87).

24\* Полль Ляфарт (1842–1911) задолго до смерти принял решение уйти из жизни не переступив порога 70-летия. Он и его жена Лайра (дочь К. Маркса) покончили жизнь самоубийством 25 ноября 1911 г. Ляфарт оставил письмо, которое заканчивалось словами: "Я умираю с радостной уверенностью, что дело, которому я посвятил вот уже 45 лет, восторжествует. Да здравствует коммунизм, да здравствует международный социализм" (Цит. по: БСЭ. М., 1973, 3-е изд., т. 14, с. 220).

25\* См. прим. 70\* к статье "Апокалиптика, социология, философия истории, социализм".

26\* Немецкая деловитость, немецкие деловые качества (нем.)

27\* Правдами и неправдами (лат.).

28\* Города Бельгии и Франции, пострадавшие от зарваского обстрела немецкой артиллерии в первые месяцы Первой мировой войны.

29\* См. прим. 67\* к диалогам "На пиру богов".

30\* Втор. 32, 35: "У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скорб наступит уготованное для них".

Затем эти слова повторяет ап. Павел: «Не мстите за себя, возлюбленные, но говорят Господь» (Рим. 12, 19). Эти же слова – эпиграф к "Анне Карениной" Л.Н. Толстого.

31\* В "Ряде статей о русской литературе. I. Введение" (1861) Достоевский писал: "Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестного, неисследованного, более всех других стран неизвестного и непонятного, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих... Для Европы Россия – одна из загадок Сфинкса" (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1978, т. 18, с. 41).

32\* "И кто знает, господа иносы, может быть, Россия *как-то* предначено ждать, пока вы кончите; тем временем проникнуться вашей

идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, лвинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельности, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою" (Там же, с. 56).

33\* Цитата из стихотворения В.С. Соловьева "Милый друг, истомил тебя путь..." (1892) (*Соловьев В.С.* "Неподвижно лишь сопне любви..." Стихотворения. Проза. Письма. Восп. современников. М., 1990, с. 75).

34\* Имеется в виду знаменитый афоризм Бакунина: "Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть". См.: *Бакунин М.А.* Соч. и письма. М., 1987, с. 226 ("Реакция в Германии").

35\* Цитата из стихотворения Ф.И. Тютчева "Эти бедные селены" (1855) (*Тютчев Ф.И.* Соч. В 2 т. М., 1980, т. 1, с. 142).

36\* Скиния завета – переносное, в виде шатра святилище, которое Моисей велел сделать во время странствия по пустыне как помещение для богослужения. По жреческому кодексу, скиния является главным ложом Божиим, отмеченным постоянным Его присутствием (Святая Святых).

Священный ковчег, или "ковчег завета" – главная святыня израильян после заключения ими союза с Богом на Синае. Ковчег представлял из себя сундук, в котором хранились скрижали закона, а также золотой кувшин с манной и жезл Аарона. Согласно ветхозаветному преданию, ковчег завета – трон Бога, на котором он живет среди своего народа. Хранится ковчег в самом святом месте Иерусалимского храма. В 587/586 гг. до н.э. Иерусалимский храм был разрушен Навуходоносором, после чего ковчег навсегда исчез. С тех пор святая святых храма представляет собой пустое помещение без материальных знаков завета.

37\* В зародыше (лат.).

38\* В Дельфах находилось святилище Аполлона с самым знаменитым в Греции оракулом.

В Элевсине, городе в 22-х км от Афин, находилось святилище, где проходили мистерии Деметры, богини плодородия и женщеледения. Поморбное сми.: *Лаэнштайн Д.* Элевсинские мистерии. М., 1996.

Дионис – бог виноградарства и виноделия, в честь которого в Аттике праздновались дионаисии, ленен, анфестерии.

39\* В этом утверждении С.Н. Булгакова явно сказывается влияние Вяч. Иванова, главного "феоретика дионаисизма" в России. О нем Булгаков написал статью "Сни Геи" См.: *Булгаков С.Н.* Тихе думы. М., 1996, с. 95–102.

40\* О Белинском Ф.М. Достоевской писал в мемуарном очерке "Старые люди" ("Дневник писателя", 1873): "О, напрасно писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать..."

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным способствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода, – не от сожалений, не от разочарований, о нет, – а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России! (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Л., 1980, т. 21, с. 11–12).

41\* По преданию, град Китеж погрузился на дно озера Светлояр (по другой версии стал наводнением) и таким образом избежал разорения татарами; в тихую погоду, гласит легенда, можно видеть здания утонувшего

города и слышать колокольный звон. Подробнее см.: *Булгаков С.Н.* Тихие думы. М., 1996, с. 467–468.

42\* См. т. 1 наст. издания.

43\* Цитата из стихотворения А.С.Хомякова "Мечта". См. прим. 140\* к диалогам "На пиру богов".

44\* Герцен А.И. Соч.: В 9 т. М., 1958, т. 7, с. 469–470, 518, 519, 520–521, 521. Правильное название работы Герцена: "Кончи и начало".

45\* Главный социально-экономический принцип И. Бентами и его последователей. О "бентамизме" см. т. 1 наст. изд., прим. 4\* к статье "О социальном идеале".

46\* "Толстая Берга" (или "Большая Берга") – сверхдальнобойная пушка, спущенная на заводах немецкой фирмы Крупп и названная в честь вице-адмирала завода. Начиная с 23 марта 1918 г. в течение ста девяти дней, каждые двадцать минут, посыпал снаряд на Париж с расстояния в 80 км; от этого обстрела погибло более тысячи жителей.

Дредноут (англ. Dreadnought – букв.: неустранимый) – англ. линейный корабль, положивший начало этому классу кораблей. Первый 18 000-тонный дредноут был построен в Портсмуте и 10 февраля 1906 г. спущен на воду. Английский адмирал Дж. Фишер назвал его "крутым яйцом" – ибо его невозможно разбить". Началась "эра дредноутов", которая продолжалась 15 лет. Подробнее см.: *Грийт Н.* Конфликты XX века. Иллюстрированная история // "Физик. и спорт", б/м, 1995, с. 29.

47\* Времена последовали – будем блестяны! (лат.) – неточная цитата из поэм Бернарда Морландского "О презрении к миру" (XII в.). По-видимому, Булгаков позаимствовал эту цитату из статьи В.С. Соловьева "Как пребудить наши церковные силы". См.: *Соловьев В.С.* Соч.: В 2 т. М., 1989, т. 2, с. 188.

48\* Дух-хранитель места (лат.).

49\* Цитата из стихотворения А.С.Пушкина "Чаадаеву" (1821) (*Пушкин А.С. Собр. соч.* В 10 т. М., 1981, т. 1, с. 264).

50\* Герой комедии Д.И.Фонвизина "Бригадир" говорит: "тело мое родилось в России, это правда, однако дух мой принадлежит короне французской". «Эти слова могли бы повторить очень многие из тоглаших "западников", нередко лучше изъяснявшихся по-французски, чем по-русски» (*Леникин С.А.* Очерки по истории рус. философии. М., 1996, с. 33).

51\* Ваал – главное ханаанское божество, которому были посвящены эсхатические кульги, кроме того, службы Ваала включали в себя также распутство и культивую проституцию (3 Цар. 14, 24).

52\* См. трактат Плотина "О любви" (Энн. iii, 5, 2–3). При этом Плотин утверждал, что "Афродита и есть Купа", ссылаясь на Платона. См.: *Платон. Эннеды* (1). Киев, 1995, с. 35.

53\* См. выше прим. 35\*.

54\* О дух Афродитах – Урании и Танисмос (небесной и обитаемой) рассказывается в "Пире" Платона. Любовь Афродиты небесной – "сама небесная, она очень цена и для "хуластства, и для отдельного человека, поскольку требует от любящего и от любимого заботы о нравственном совершенстве. Все другие виды любви принадлежат другой Афродите – почтой" (*Платон. Соч.*: В 3 т. М., 1971, т. 2, с. 111). На эту тему С.Н. Булгаков написал статью "Афродита претендентка и Афродита небесная" (Вопр. жизни, 1905, № 6).

55\* См. прим. 2\* к статье "Дол в человеке".

56\* Современный перевод: "пафос пластики" – выражение Ф. Ницше, употребленное им в книге "По ту сторону добра и зла" (фр. 257). См.: Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990, т. 2, с. 379.

57\* Цитата из стихотворения А.С. Хомякова "Россия" (1854):

В судах черна неправдой черной

И илом рабства клеймена;

Безбожной лести, лжи тлетворной,

И лени мертвой и позорной,

И всякой мерзости полна!

О, недостойная избранья,  
Ты избрана!.....

(Хомяков А.С. Стихотворения и драмы. П., 1969, с. 136–137).

58\* Цитата из стихотворения А.С. Пушкина "Жил на свете рыцарь белый" (1829), которое в переложенном виде Пушкин включил в "Сцены из рыцарских времен". См.: Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1981, т. 2, с. 150; т. 4, с. 380.

59\* См. прим. 128\* к диалогам "На пиру богов".

60\* См. прим. 22\* к статье "Алекаплитика, социология, философия истории, социализм".

61\* Отк. 21, 1: "И увидел я новое небо и новую землю..."

62\* Ерп. 10, 31.

## СМОЛЫ

Печатается по тексту: Цит. Литературный сборник под ред. Л. Андreeва, М. Горького и Ф. Сологуба. М., Т-во типографии А.И. Мамонтова, 1915, с. 42–45.

На последней странице обложки сборника съявлено: "Чистый сбор от издания поступит полностью в пользу "Общества всестошествия бествующему еврейскому населению, пострадавшему от военных действий".

1\* Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. Л., 1983, т. 25, с. 82 ("Дневник писателя" за 1877 г. март, гл. 2, III). Достоевский не совсем точно цитирует письмо Рахили из драмы Н.В. Кукольника "Князь Даниил Васильевич Холмский" (акт 2, явл. 2). См.: Кукольник Н. Сочинения драматические. СПб., 1853, т. 2, с. 415.

2\* Диаспора (греч. διασπορά – рассеяние) – области расселения евреев за пределами Палестины.

3\* Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч., т. 25, с. 83.

4\* Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М., 1988, т. 2, с. 749. Эпизод, как и цитата, – из "Краткой повести об антихристе" в "Трех разговорах" В.С. Соловьева.

5\* Всемирная сионистская организация (WCO) была основана на первом международном съезде сионистов в Базеле в 1897 г. Однако сионизм – как идеология, обосновывающая проект переселения евреев в Палестину с целью создания там независимого еврейского государства, – возник гораздо раньше. Сион (от которого произошло название организации) – перво-

начальное название крепости, захваченной Давидом в восточной части Иерусалима; позднее – название всего Иерусалима как места пребывания Бога.

6\* Первый Иерусалимский храм был разрушен вавилонским царем Навуходоносором в 587 г. до н.э. Второй храм был построен и освящен в 515 г. до н.э. и проспал 585 лет вплоть до разрушения его римским императором Титом в 70 г. н.э.

? См. прим. 73\* к диалогам "На пиру богов".

8\* Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч., т. 25, с. 82.

9\* См. прим. 88\* к статье "Основные мотивы философии хозяйства в платонизме и раннем христианстве". Это выражение использовал и Ф.М. Достоевский в цитируемом С.Н. Булгаковым высказывании писателя": "...Не настало еще все времена и сроки, несмотря на протекшие сорок веков, и окончательное слово человечества об этом великом племени (имеются в виду евреи. – В.С.) еще впереди" (Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч., т. 25, с. 81).

## НОЛЯ В ЧЕЛОВЕКЕ

Печатается по тексту: Христианская мысль, 1916, с. 87–104. В расширенном виде статья вошла в книгу С.Н. Булгакова "Свет Несчастья" (М., 1994, с. 250–265).

1\* В современном переводе: "блаженство чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!"

2\* Шехина (арам.: пребывание вблизи) – термин иудейского присутствие Бога в мире. Каббала – средневековое иудейское религиозно-мистическое учение, изложенное в книге "Сефер Иедира" ("Книга творения"), записанной в VIII в., и книге "Зогар" ("Сияние"), появившейся ок. XII в. Согласно книге "Зогар" ("Зогар"), Бог – это "бесконечное", лишенное каких-либо атрибутов, а мир вещей – эманация (истечение) божественных сил.

3\* Он (Максим) учит о том, что в Господе Иисусе предполагается проподное разделение на мужской и женский пол. Он восстал из мертвых не в облике мужского или женского пола, а в облике человеческой, хотя и были рожден в мужском облике и в этом облике явился своим ученикам после воскресения. Никак иначе, если бы не эта форма, показать воскресение было нельзя (лат.).

4\* См.: Булгаков С.Н. Свет Несчастья. М., 1994, с. 185–240.

5\* О рождении Эроса (Эрота) от Пороса и Пифии (богатства и скучности) Платон рассказывает в диалоге "Пир" (203–204 а).

6\* Об "андронах" см.: "Пир" Платона (189 д–193 д) (Платон. Соч. М., 1970, т. 2, с. 116–121).

7\* Начинается трагедия (лат.).

8\* См.: Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. №., 1989, с. 403–407.

9\* См.: Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М., 1990, с. 64–76 (Гл. 3. Значение основных хозяйственных функций. i. Потребление).